

Е. КАННАК

ВЕРНОСТЬ

ВОСПОМИНАНИЯ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

YMCA-PRESS
PARIS



Е. КАННАК

ВЕРНОСТЬ

Воспоминания, рассказы, очерки

YMCA-PRESS
11, rue de la Montagne Ste-Geneviève
75005 Paris
1992

Составление, подготовка текста и комментарий
А. Клементьева и С. Клементьевой

Обложка работы А. Ракузина

ISBN n° 2-85065-220-2

ПРЕДИСЛОВИЕ

Евгения Осиповна Залкинд родилась в С.Петербурге 7 ноября 1903 года. Несколько лет спустя семья ее перебралась в Москву, а позже — в годы революции — в Вильно. Здесь, в рукописном гимназическом журнале, появляются первые короткие рассказы юной Жени. В 1919 году, вместе с родителями, сестрой и братом, она переезжает в Берлин.

В Германии она учится в берлинском и фрайбургском университетах, работает над докторской диссертацией о декабристах «Die Dekabristen in ihrer Beziehung zu Westeuropa», опубликованной в журнале «Osteuropa» в 1928 году. Среди других ее работ, появившихся в это время, отметим небезынтересную современному читателю статью «Die russische Literatur der Gegenwart», напечатанную в берлинском «Lloyd Journal» в 1932 году.

Знакомство со сверстниками, покинувшими Россию еще в детстве, приводит ее в берлинский кружок поэтов, объединивший начинающих литераторов русской берлинской эмиграции. Почти все участники кружка — Николай Зарецкий, Владимир Бикерман, Михаил Горлин, Раиса Блох — писали стихи, и лишь двое — Эссад-Бей и Евгения Залкинд — прозу. Иногда в заседаниях кружка участвовали и известные уже поэты — Владимир Набоков и Владимир Пиотровский. Молодая «прозопоэтесса» (как метко назвал ее Михаил Горлин, неизменно бывший секретарем поэтического

кружка) не печаталась в издававшихся кружком поэтических сборниках, но ее рассказы и очерки регулярно появлялись (под псевдонимом Е. Аленина) на страницах берлинских газет «Руль» и «Наш Век».

В конце 1933 года она выходит замуж за француза Рене Каннака и переезжает во Францию, где отходит на время от сотрудничества в газетах, занимаясь в основном литературными переводами. Здесь Е. Каннак снова встречает многих прежних берлинских знакомых, поспешивших уехать из Германии после прихода к власти национал-социалистов. В годы оккупации Франции она вместе с мужем, активным участником Сопротивления, укрывает многих друзей, боровшихся за освобождение страны. Некоторые из ее дневниковых записей военных лет вошли в эту книгу.

Сразу после войны Е. Каннак начинает помещать рассказы и заметки на современные темы в газете «Русские новости». В «Новом журнале» публикуются ее работы о Софье Ковалевской, И.С. Тургеневе, А. Солженицыне, пишет она и множество рецензий на новые книги. Несколько рассказов печатает и альманах «Мосты».

С 1968 по 1983 год она постоянно сотрудничает в парижской газете «Русская мысль». Здесь появляются десятки ее статей о книгах современных французских (Андре Мальро, Жана Жионо, Маргариты Юрсенар, Симоны де Бовуар, Жоржа Сименона) и русских (Ивана Бунина, Владимира Набокова, Ильи Эренбурга, Владимира Маяковского, Осипа Мандельштама, Василия Каменского, Лили Брик) авторов. Пишет она и воспоминания о друзьях молодости — Р. Блох и М. Горлине, В. Корвин-Пиотровском, В. Набокове. Работу Е. Каннак в газете отметил известный в эмиграции критик Владимир Вейдле, писавший ей в мае 1975 года: «Давно питаю симпатию к Вам, питаемую в свою очередь

Вашими статьями в «Русской мысли». Говорил и не раз Зинаиде Алексеевне (З.А. Шаховской — главному редактору газеты «Русская мысль». — *А. К.*), что из всех постоянных сотрудников газеты ценю только Вас. Довольна этим не была, но что Вас хвалю одобрила».

Особо стоит сказать об обширной переводческой деятельности Е. Каннак. Начиная с августа 1957 года в издательствах Fayard и Gallimard выходят многие пьесы и рассказы А.П. Чехова в ее переводе, а издательство L'Arche публикует пьесы А.Н. Островского и М. Горького. За последние четверть века во Франции были осуществлены сотни постановок пьес этих авторов в ее переводе. Увлечение театром нашло отражение в ряде статей о знаменитом театральном режиссере Николае Евреинове, художниках Наталье Гончаровой, Михаиле Ларионове и Ольге Глебовой-Судейкиной.

В мае 1964 года в издательстве Gallimard появился и перевод на французский язык романа В. Набокова «Защита Лужина», выполненный Евгенией и Рене Каннак. Перевод этот заслужил много похвал автора. Евгении Каннак принадлежит и первый перевод на русский язык романа Франца Кафки «Процесс».

В России лишь только одна ее повесть «Верность» была опубликована в журнале «Дон» в июне 1969 года.

Настоящая книга — первое собрание рассказов, очерков и рецензий Евгении Каннак — издается стараниями г-на Рене Каннака, которому я приношу глубокую благодарность за помощь при работе с архивом его жены. Принимая во внимание небольшой объем книги, составитель постарался собрать в ней наиболее интересные материалы, как известные, так и неопубликованные, дабы дать возможность читателям в России познакомиться с работами Евгении Каннак в разных жанрах.

Александр Клементьев.

Paris, 15 juillet 1992.

I

ПОВЕСТИ
И
РАССКАЗЫ

ВЕРНОСТЬ

1

Маше Осиповой с июля пошел семнадцатый год, и все домашние хором уверяли, что она удивительно похожа на сводную свою сестру Алину; сама же Маша, вглядываясь в овальное зеркало над комодом, только недоверчиво усмехалась, вспоминая пухлые щеки и двойной подбородок Алины, не в меру раздобревшей супруги псковского полицмейстера.

Однако, сходство утверждалось не одними домашними: Алина показала ей как-то листок, на котором слитным быстрым почерком были набросаны строки: «Мой ангел, как мне жаль, что я Вас не застал... Я пишу к Вам, а наискосок от меня сидите Вы сами в образе Марии Ивановны. Вы не поверите, как она напоминает мне прежнее время

И путешествие в Опочку

и прочая...»

Вот и все, что было сказано о Маше, — да и о ней ли? О ней лишь было упомянуто, как об удивительно схожем портрете, воскрешавшем воспоминания молодости. Не к ней было обращение «мой ангел», не к ней стихи «Я вас люблю, хоть я бешусь», которые Алина хранила в шкатулке с другими девичьими сувенирами.

Маша опоздала родиться на десять лет.

Для Тригорского те два года были временем неповторимого блеска; в этом доме навсегда укрепилась о них

память, и даже вещи, войдя в заговор, помогали ее беречь: серебряный ковшик с длинной ручкой, в котором Евпраксия Николаевна варила пунш, старые ноты Россини, изящные книжки с виньетками, альбомы в красном и синем сафьяне...

Но в те счастливые годы Маша была еще ребенком; она только понаслышке знала о ночных прогулках в Михайловское, о вечеринках в зале за чашами жженки, о перекрестной влюбленности двух поэтов в деревенских барышень — сестер и кузин; в ее детскую лишь глухо долетали звуки пьес, которые с виртуозной отчетливостью разыгрывала сестра Алина.

На Машину долю осталось немного: упоминание ее имени в письме, рассказы сестер, — да еще несколько недель сентября позапрошлого года: поэт, приехавший тогда в Михайловское, посещал Тригорское почти ежевечерне; он был невесел, бранил погожую солнечную осень, — ему не писалось, — рылся в старых книгах да грыз орехи. «Стареем, Прасковья Александровна, стареем, — сказал он однажды Машиной матери. — Что делать? А ведь я могу сказать про себя вместе с покойной моей няней: хорош никогда не был, а молод был».

В Машиной памяти остались: стук копыт у ворот, торопленные шаги, быстрый говор и смех, пожатие горячей руки и прикосновение остро отточенных ногтей; вот и все.

«Молод был, — думала она, — вот и я теперь молода; да что толку?» И, подымая свечу на уровень виска, она разглядывала себя в зеркале: светлые, тонкие брови, серые глаза, нежная, чуть тронутая загаром кожа. Вздыхая, она ставила подсвечник на комод.

2

Тригорское за последние годы опустело, дом казался слишком просторным. Воздушная Евпраксия стала баронессой Вревской, доброй матерью семейства; Алина Осипова вышла за Беклешева; умерла от родов бедная Нетти; вырвалась наконец из деревенской глуши в Петербург сентиментальная неудачница Аннетта, круглолицая, с растрепанными височками; Алексей Вульф уехал в Москву. В деревне остались мать — постаревшая, но по-прежнему властная, быстрая и на руку и на язык — да две младшие, Маша и Катя. Остались и соседки, уездные барышни, все еще гадавшие на досуге: кого вывел Александр Сергеич в Онегине и кто Татьяна: Алина или Annette?

Имение было расстроено; заботиться о приличном воспитании младших дочерей Прасковье Александровне было недосуг; единственно обязательным — на словах — остался французский язык; но во французской грамоте мать и сама была не сильна, держать же гувернантку ей было не по средствам. Маша с Катей росли на свободе, скорее деревенскими девочками, и лето от зари до зари проводили на вольном воздухе, забывая о роялино и о вокабулах.

Маше не надо было, как соседкам-барышням, гадать: кто Татьяна? Не она ли по утрам, сначала берегом озера, потом лесной тропинкой, брела в Михайловское по не просохшей еще траве, отводя рукой мокрые ветки? Уже не было в живых старой няни: ее встречала дворничиха и, улыбаясь худым, морщинистым лицом, отворяла перед ней комнаты деревенского дома.

Оставшись одна, Маша в сотый раз оглядывала бедные стены, лишь наполовину оклеенные обоями, некрашеный пол, ломберный столик у окна — и, как Татьяна, торопливо листала книги, ища отметок на полях.

Она же была и та Маша, тоже помещичья дочка, которая, покорившись злой судьбе, возвращалась из церкви после венчанья с нелюбимым, — когда вдруг чья-то рука схватила лошадь под уздцы, дверца кареты распахнулась и при свете фонаря она увидела сверкающие глаза, дерзкую улыбку: «Выходите, вы свободны». «Нет! —отвечала она с твердостью, — поздно... Я обвенчана». И еще она была та Маша, что в снежную бурю, замирая от волненья, летела в санях в деревенскую церквушку, — а там, у алтаря, стоял и ждал ее, полуотвернувшись, все тот же, смуглый, курчавый, с арабским профилем...

3

Eteins, je t'en conjure, la flamme insensée,
Et que le souvenir d'un tendre égarement
Ne fasse plus de ma pensée
Et le bonheur et le tourment...

Маша перечла эти строки; губы ее опять дрогнули, она потянулась рукой к корсажу, потом машинально пошарила вокруг себя на кресле и встала: платочек, потемневшей сырой лепешкой, лежал под ней. Ей невольно стало смешно, но улыбка не вышла, углы губ потянуло вниз и из-под набрякших век посыпались слезы.

Со вчерашнего дня, с той самой минуты, когда привезли из Петербурга письмо от сестриц — Анны и Евпраксии — и маменька, прочтя первые строки, сняла очки и всплеснув руками закричала: «Боже мой, Маша, Маша, какое несчастье!» — с той минуты Маша начала плакать и проплакала без отдыха до самого вечера, — и даже ночью, внезапно просыпаясь и разом все припоминая, снова принималась всхлипывать, уходя головой под одеяло, чтобы не разбудить сестру.

К утру она успокоилась было немного, но маменька, испугавшись за чаем ее распухшего лица и красных глаз, властно приказала ей немедленно перестать — от этого Машины слезы полились еще обильнее.

Она убежала в библиотеку, где бывало еще ребенком пряталась от надоевших гамм, от материнской ворчни. Там по стенам тихо стояли небольшие шкафчики и дремали книги за шелковыми зелеными занавесками на колечках.

Тут были и старые томы дедушки Выңдомского, в пергаменте — Маша листала их равнодушно. Она предпочитала им французские книжки из материнской девичьей библиотеки, украшенные надписью Prascovi de Wyndomsky, с сентиментальными примечаниями на полях:

“L'amour est éternel lorsqu'il est vertueux“ —

“cœurs heureux, vous y trouverez des moyens de charme“; — она разбирала их с робким недоумением, — так же недоумевала она, разглядывая миниатюру, изображавшую мать в молодости, узколицую, пышноволосую девицу, и припоминая маменькин грозный чепец, жидкие букли и узор красных жилок на полных щеках.

И были еще, на отдельной полке, любимые томики карманного формата с изящными виньетками: сочинения Дельвига, Языкова, главы Онегина в отдельных изданиях, и Кавказский пленник... Маша отчеркнула еще ногтем на полях —

“Eteins, je t'en conjure, la flamme insensée“

и, всунув в тесный ряд томик Эдмонда Жерара, потянулась было к другому, но тут ей послышался на дворе необычный шум. Насторожась, она повернула голову: кто приехал? Сестрицы? Алексей Николаевич?

Сквозь затуманенное стужей стекло она увидела на дворе незнакомые сани, запряженные парой, и человека в большой дохе, который тяжело вылез, расправил

тяжелые плечи и пошел к дому; за ним выпрыгнул в снег офицер.

— Надо маменьку позвать, — подумала Маша.

Но Прасковья Александровна в эту минуту кликнула из зала:

— Маша, Маша, пошли Прохора на крыльцо, кто это там приехал?

4

Летя по заснеженной дороге то в кибитке, то в санях, Александр Иванович Тургенев за двое суток проехал без малого четыреста верст, в Пскове и Острове останавливался не надолго, отдохнуть по-настоящему нигде не успел и теперь, сидя в столовой Тригорского за вкусным и обильным деревенским обедом, чувствовал, что его мучительно одолевает сон, — веки то и дело опускались на небольшие заплывшие глаза и дряблый подбородок уходил в воротнички. После еды его часто в последнее время разбирала сонливость, но спать ему теперь не полагалось: его дорожный спутник, жандармский офицер, не переставал почтительно теребить, — жандарму не терпелось ехать в монастырь для совершения погребального обряда; Прасковья же Александровна, одолеваемая горестным любопытством, неустанно осыпала его вопросами.

— Где же вы тело оставили, Александр Иванович? — спросила она, поднося платочек к губам.

— В Острове; с ним дядька и почтальон, они уж прямо поедут в Святые Горы. А мы решили сначала к вам, — я ведь знаю, что Александр Сергеевич был у вас как родной.

— Я вам благодарна более, чем могу сказать, — пробормотала хозяйка.

— Так мы всю дорогу и ехали, — сказал Тургенев, подавляя зевок, — впереди, — он показал мягким подбородком на жандармского ротмистра, в десятый раз стараясь припомнить его имя и отчество, — впереди они, за ними скакал гроб на дрогах, покрытый рогожей, а сзади я в кибитке;потом я пересел к ним в сани. А дядька Пушкина, Никита, — вы может быть его помните? — захотел проводить своего барина и так всю дорогу и простоял на дрогах, между гробом и стенкой, руки в рукава, еще слава Богу, что не замерз.

— Но зачем же допустили друзья до дуэли? — начала было Прасковья Александровна с горячностью.

— Ваше превосходительство, не пора ли? — снова вставил жандарм. — Ведь четвертый час, уже темнеть начинает.

— Да, пожалуй, голубчик, поедем, — мягко ответил Тургенев и с усилием повернулся на стуле.

Четырнадцатилетняя смуглая Катя, глядевшая на него во все глаза, ясно услышала, как треснуло под ним сиденье.

5

В четыре часа Тургенев с жандармом отправились в санях в Святогорский монастырь; уже темнело, когда они подъехали к подножью горы и стали взбираться вверх по ступеням из цельных камней: короткий зимний день кончался.

Страстный турист, Тургенев, невзирая на сумерки, осмотрел храм, ограду и здания, зашел к старенькому архимандриту, нарочно приехавшему из Пскова, и выпросил себе на память описание монастыря. Меж тем тригорские крестьяне, присланные помещицей, сбросив тулупы, с усердием рыли могилу на деревенском кладбище. Но мороз к вечеру покрепчал, земля туго

поддавалась заступам, пламя фонаря, поставленного на землю, колебалось под ударами ветра и то и дело грозило потухнуть - и Тургенев решил отложить похороны до утра, а пока вернуться в Тригорское.

На обратном пути они повстречали «тело, скакавшее в монастырь», как Тургенев записал в своем дневнике. Он сделал знак остановиться и приказал дядьке, Никите Козлову, оставить гроб до утра в верхней церкви. Дядька, нагнув голову, пробормотал что-то невнятное окоченевшим беззубым ртом.

6

Маша не выходила к обеду — ей было стыдно перед приезжими заплаканных глаз — и Тургенев увидел ее впервые только за ужином; он внимательно на нее поглядел, дивясь неожиданной милости судьбы.

О девичьем цветнике Тригорского Тургенев давно был наслышан; не разбираясь во всех этих Алинах, Нетти и просто Аннах, называл их скопом «девицы Осиповы», хотя смутно подозревал, что некоторые из них и не Осиповы, и не девицы. Только тут, в Тригорском, он узнал о существовании этих двух девочек, единственных Осиповых; и он никак не ожидал, чтобы у Прасковьи Александровны, которую Пушкин еще десять лет тому рекомендовал друзьям «доброю старушкою», была такая молоденькая и милая дочь, - сероглазая, белая, русая, с угловатой грацией и неожиданной наивной улыбкой, свойственной этому прелестному возрасту.

Отвечая на вопросы хозяйки, Александр Иванович все чаще поглядывал на Машу. Приятели недаром дразнили его «сердечкинскими хлопотами» и называли селадоном - он и в самом деле не мог пройти равнодушно мимо хорошенькой и милой женщины, а

таких ему на веку встречалось множество: его, жизнелюбивого, жизнь охотно дарила по мелочам, отказывая в главном.

Разговор за ужином тянулся вяло; наконец, жандармский ротмистр, зевнув раза два и извинившись дорогой и усталостью, ушел в отведенную ему комнату. Все помолчали с минуту, прислушиваясь с облегчением к удаляющимся шагам.

— Как же вы сами узнали об этом, Александр Иванович? — спросила хозяйка.

— Я был у Щербатовых на вечере, — начал Тургенев оживляясь, — вдруг подходит ко мне Скарятин и спрашивает: Ну, что, каков он? Есть ли надежда? — Я говорю: кто? — Как, вы не знаете, что Пушкин стрелялся нынче с молодым Геккереном? Помилуйте, смертельно! Все уже у него! — Я все еще не верил, — ведь в полночь, накануне, я виделся с ним на бале у Разумовских, он был весел, шутил...

Хотя недавно, почти в тех же выражениях, он рассказывал об этом псковскому губернатору Пещурову, а в Петербурге целому ряду знакомых, он опять побледнел, как в ту минуту, когда Скарятин, взмахивая полами зеленого фрака, вплотную надвинулся на него, в том невольном бескорыстном упоении, которое овладевает человеком, когда он первый сообщает приятелю особенно грустную для того новость.

— А потом? — тихо спросила Маша.

— Я поехал к ним на Мойку. Там уже были все: Вяземский с женой, Жуковский, Виельгорский и доктора. Все отчаивались.

— И вы его видели?

— Мы — Жуковский да я — двое суток не отходили от страдальца.

Опытный рассказчик, Тургенев знал, что все были бы разочарованы, если бы он вздумал описывать все

как было; да и как передать это в рассказе? Темная прихожая; две свечи в медных шандалах, оплывающие на подоконнике; выражение лица Жуковского, бледного и одутловатого, тяжело сидевшего в креслах; и страшные звуки, доносившиеся из соседнего кабинета — кряхтенье, прерывистые стоны... За все время предсмертных мучений Пушкина при нем были только врачи — Арндт, Спасский, Даль; друзей допускали лишь изредка, на минуту; но Тургеневу навсегда запомнились запекшиеся черные губы и двукратное слабое пожатие руки.

Усевшись поудобнее в глубоких штофных креслах, положив пухлые руки на толстые колени, Тургенев стал неспеша рассказывать - не о смерти, а об отпевании Пушкина.

— Это было принято, как настоящее народное бедствие, — говорил он. — Один старичок даже сказал: я видел, как фельдмаршала хоронили, а такого не было. Гроб поставили в передней, входную дверь заколотили, и целый день бессчетная толпа притекала и уходила через маленькую потайную дверь. И что же? Правительство испугалось и нашло в этом что-то предосудительное. Отпевание должно было быть в Исаакиевском соборе, — и накануне, когда пригласительные билеты были уже разосланы, приказано было все переменить. Вынос должен был быть по обычаю утром, велели ночью, без факелов, перенести тело в подвал церкви, и не Исаакиевской, а Конюшенной: обманули народ. Тайком, будто преступное дело делали, мы вынесли ночью гроб; целый корпус жандармов нас сопровождал. Да что говорить, — воскликнул он с силой и даже приподнялся слегка, опираясь на поручни. — Вяземский положил свои перчатки в гроб — даже в этом нашли чуть не заговор против правительства... Запретили студентам и профессорам быть на отпевании,

гнали народ прочь, в церковь пускали лишь по билетам да по мундирам. Где же, в какой другой стране осмелится правительство так оскорблять общественное мнение? — выкрикнул он, вставая, и вдруг опомнился, сел и мягко кашлянул. За двумя стенами почивал жандарм, — и не двадцатые годы, когда либерализм и порицание правительства были в моде... Да и кто он, чтобы разводить фронду? Едва терпимый при дворе человек, родной брат политического эмигранта, заочно приговоренного к смерти, сам вечный странник, лишенный родного угла...

Прасковья Александровна несколько раз задумчиво ему кивнула, оправляя складки шали на плечах. Она считала себя либералкой, не стесняясь бранила Петербург и государя язвительно называла «незабудкой», за его злопамятность.

— Какой же подлый человек этот Дантес, — сказала она нахмурясь; в душе она во всем винила одну Наталью Николаевну.

— Таких людей, как он, поставить бы на край земного шара да дать киселя, — отозвался Тургенев, но только смешливая Катя не удержалась и прыснула.

По приказанию матери Маша принесла фамильные альбомы, переплетенные в красный и зеленый сафьян, и Тургенев, питавший подлинную страсть ко всякого рода архивам (недаром он возил с собой повсюду около трехсот собственноручных записок Карамзина, целую груду стихов Жуковского и писем брата Николая), принялся с истинным наслаждением переворачивать плотные страницы. Он нашел в одном альбоме неизвестные ему стихи Пушкина — «Цветы осенние милей», записи Дельвига, Языкова, и все это так ему понравилось, что если бы было время и не было совестно, он бы тут же сел переписывать альбом для себя.

Но час был поздний, у хозяйки, утомленной непривычными волнениями, слипались глаза, да и наутро надо было вставать в шесть часов, чтобы спешить в монастырь.

На просьбу Прасковьи Александровны украсить альбом и своей записью, он, немного подумав, вывел на чистой странице прекрасным ровным почерком:

“Le bonheur est dans la vertu qui aime et dans la science qui éclaire. Sentence vérifiée à Trigorskoyé, le 5 février 1837.

A. Tourguéneff“.

В Тригорском, конечно, не могли знать, что эту же самую сентенцию он вписывал уже не раз и в другие альбомы: канцлеру Миллеру в Веймаре и двум прелестным парижским дамам.

7

Александр Иванович отказался от услуг дворового, с сомнением поглядев на его руки, и сказал, что привык раздеваться сам; но про себя пожалел, что оставил в Петербурге, в гостинице Демута, своего камердинера, расторопного француза Луи.

Он оглядел постель, пощупал простыни и поморщился: они показались ему сыроватыми. В печке трещали дрова, но комната, видно давно нежилая, не успела еще согреться и, казалось, вся вздрагивала от непривычного тепла. На стене, над кроватью, висела на гвоздике студенческая шапочка и голубая лента: конечно, сувениры Алексея Вульфа, бывшего дерптского филистера.

По многолетней привычке, Тургенев прежде всего взялся за свой дневник и подробно отметил события дня: приезд в Тригорское, поездку в монастырь, проведенный с хозяйкой вечер. Он не забыл и Машу: «Дочь пленяла меня; мы подружились», — записал он.

Сухие дробные звуки донеслись со двора: сторож шел под окном, колотя в чугунную доску. «Что это мне напоминает? — спросил себя Александр Иванович. — Да, вечера в Лейпциге...» Когда семнадцатилетним мальчиком он впервые приехал в Лейпциг, там тоже по вечерам сторож проходил под окном с колотушкой и пением:

> Gnäd'ge Herren, lasst Euch sagen,
> Die Uhr hat eben zwölf geschlagen,
> Löschet das Licht...

Жизнь тогда только начиналась; он был полон любви ко всему миру, страстного любопытства, желания поскорее всему выучиться, стать полезным и славным деятелем... Потом были геттингенские годы, занятия у доброго старика Шлецера, прогулки с Андреем Кайсаровым, закадычным другом, по окрестным холмам; он был счастлив тогда, хоть и тосковал по Москве, по братьям, по кроткому чувствительному отцу. Кто мог знать, что эти студенческие годы будут в его жизни счастливейшими?

Ничего не осталось от этого времени — ни отца, ни двух младших братьев, ни родного угла, Тургенева. Вместо полезного деятеля из Александра Ивановича вышел неутомимый турист — и только; а с тех пор, как третий брат, Николай, стал изгнанником, он превратился в Вечного Жида, в России бывал только наездами, исколесил всю Европу, но нигде не нашел пристанища. «Эх, когда-то кончится моя потаскная жизнь, — думал он, с кряхтеньем взлезая на высокую кровать; кровать тоже закряхтела. — Вот Пушкину теперь спокойно».

Он дунул на свечу; все очертания вещей исчезли, — и через секунду выступил белесый отсвет снега в окне и заходили по стенам багровые отблески огня из печки. Перед закрытыми глазами Александра Ива-

новича выплыло Машино лицо — гладкий лоб, серые, прямо смотрящие глаза... «Вот жениться бы на такой милой девочке, купить деревеньку, зажить как люди, зиму проводить в Петербурге...» «Какой вздор, — подумал он, — а Николай? И она на тридцать лет меня моложе».

В тот вечер Прасковья Александровна засиделась перед туалетным столиком, в пеньюаре и ночном чепце. Оперши щеку на кулачок, глядя невидящими глазами в зеркало, она думала о рассказе гостя. Ее неприятно задела одна его случайная фраза: «Жуковский разбирает теперь его бумаги и письма». Не может того быть, чтобы у Александра Сергеича сохранились все ее письма,— даже то старое, в котором было: «Я всю ночь видела вас во сне; помню, что поцеловала вас в глаза», — или одно из последних: «Бывают моменты, когда хотела бы иметь крылья, чтобы унестись к Вам, увидеть Вас на мгновение и затем вернуться, — но это безумие, не правда ли?» Но что если сохранились, если найдут эти письма, прочтет Жуковский, прочтет Наталья Николаевна, другие?.. Смешно и стыдно пожилой женщине, бабушке, видеть такие сны, лелеять такие мечтания... Но в глубине души она знала, что ей теперь все равно. Выстрел на Черной Речке ее оглушил, дым его еще не рассеялся, она еще не почувствовала боли, но знала, что отчаяние, страшная пустота придут потом.

И только Маша, прижимаясь щекой к сырой подушке, вспоминала о непогребенном теле, всеми оставленном на бесконечную ночь в ледяной церкви.

8

Еще не совсем рассвело, когда они выехали в санях в Святогорский монастырь. Жандарм был неразговорчив, зевал, кутался в шинель; Александр Иванович с неутомимым любопытством оглядывался по сторонам: налево белела замерзшая река, направо темной полосой выделялся лес.

В монастыре им сказали, что могила еще не готова, хоть и рыли всю ночь, тригорские мужики и михайловские, узнавшие о смерти своего барина: глубоко промерзшая земля только глухим звоном отвечала на удары лопат.

В холодном, темном храме было немного народа; священник начал служить; хмуро блестели оклады древних образов. Александр Иванович в рассеянии загляделся на высокую худую старуху в черном, с выбивавшимися из-под платка прямыми белыми прядями; она медленно клала поклоны. «Точная Парка», — подумал он. Жандарм, деликатно нагнувшись к его уху, шепотом напомнил, что отпевание было уже, собственно, совершено в Петербурге, что на это указано даже в полицейской инструкции. Стесняясь за него, Александр Иванович ничего не ответил, только чуть улыбнулся застывшими губами: он отлично помнил эту инструкцию; ее показал ему конфиденциально псковский губернатор:

«...воспретить всякие особенные изъявления, всякую встречу, одним словом, всякую церемонию, кроме того, что обыкновенно по нашему церковному обряду исполняется при погребении тела дворянина».

Служба кончилась. Лишь немногие плакали. Тургенев бережно спрятал - для вдовы - вынутую священником просфору.

Мужики на плечах вынесли гроб из церкви. Шаркали валенки по каменным плитам, сутулились спины. Солнце едва взошло; резкий ветер, поднявшийся с реки, разогнал сизый туман.

Гроб опустили в неглубокую яму; Тургенев первый бросил на крышку твердый ком снега.

Вот и все. Пожалуй, напрасно беспокоились государь и граф Александр Христофорович. Какие уж тут особенные изъявления? Ворона пронесется с карканьем, заденет лапчатую еловую ветвь, и слой снега мягко упадет и рассыпется; ветер тронет мужичьи трепаные бороды, ворвется в открытые двери храма, над новой могилой завьет снежные гребни и сравняет ее с соседней, где под камнем лежит мать поэта, Надежда Осиповна...

Он нагнулся, поднял горсть мерзлой земли, обломал несколько сухих еловых веток и все это тщательно увязал в платок: на память.

— Что же, теперь можно и в Псков возвращаться, ваше превосходительство? — спросил жандарм.

— Вы поезжайте себе с Богом, мой милый, — сказал Тургенев мягко, — а я сначала в Тригорское. — Жандарму незачем было знать, что Тургенев решил еще посетить до отъезда Михайловское: накануне Маша обещала ему быть спутницей.

9

В нетопленой комнате было еще холоднее, чем на дворе. Маша, закутанная в шубу, в теплом платке до глаз, остановилась на пороге и робко подняла взгляд на Тургенева, который был на две головы выше ее и втрое шире.

— Прежде здесь было гораздо больше книг, но почти все увезли в Петербург...

Тургенев оглядывался с любопытством, опять стараясь запомнить каждую мелочь, чтобы вечером подробно обо всем записать в дневнике. В простенке меж заиндевевших окон - небольшой ломберный стол с огромной пустой чернильницей; выцветший диван, три стула, у задней стены кровать, - одна ножка обломана, под нее поставлено полено.

— Да, небогато жил, — сказал он как бы про себя, со вздохом.

— Это все старая мебель, еще дедовская, — объясняла Маша. — Рядом в зале бильярд, там он бывало от скуки играл сам с собой в два шара...

— Как вы здесь все знаете, Марья Ивановна, — сказал он с внезапным любопытством, вы верно часто сюда ходили? — Маша опустила ресницы и ничего не ответила. — Так, так, — сказал Тургенев добродушно.

— Я никогда не уеду из Тригорского, — вдруг сказала Маша.

— Выйдете замуж, уедете, как ваши сестрицы, — Тургенев невольно усмехнулся.

— Я никогда не выйду замуж, — сказала Маша; щеки ее, разрумяненные морозом, еще ярче запылали.

— Где вам знать, в шестнадцать-то лет? — сказал он, понизив голос, задумчиво ею любуясь. Много лет назад, в Риме, в соборе Св. Петра, ему случилось присутствовать на обряде пострижения в монахини; в тонком лице молодой красавицы в белом одеянии его поразила тогда прелесть резиньяции и решимости: что-то в выражении Маши напомнило ему ту молодую римлянку, и он улыбнулся опять, — не то над ее отречением от жизни, не то над собственными ночными мечтаниями.

— Да ведь вы редко его и видели, — сказал он вдруг, как будто с досадой.

Маша ничего не ответила; ей и то казалось, что она еще никогда так себя не выдавала, ни с кем не была

так откровенна, как с этим дородным пожилым человеком.

Они вышли на крыльцо. Под зимним бледно-голубым небом искрился нетронутый снег. Тургенев полюбовался садом Михайловского, видом на озеро, тремя соснами, на которые ему указала Маша.

— Эти деревья будут для русских тем же, что дерево Тасса над Ватиканом для Италии и для всей Европы, — сказал он несколько напыщенно.

Ему становилось все грустнее, — от ощущения покинутости, которое исходило от этого дома и сада, от близости сероглазой, румяной, влюбленной в тень поэта девочки, от вечной неудовлетворенности своей жизнью, от сознания собственной близкой старости. И он решил, чтобы отвлечься от этих мыслей, осмотреть на обратном пути древний Псков во всех подробностях.

Дворник подошел попрощаться и передал желание дворовых — достаться в наследство детям Пушкина. Александр Иванович рассеянно обещал поговорить об этом в Петербурге со вдовой и, взяв Машу твердо под теплый локоток, повел ее, проваливаясь в снег, к саням, ждавшим на дороге.

10

10 февраля 1837 г. Петербург.

Я возвратился сюда третьего дня и первым и приятным долгом считаю принести Вам, Милостивая Государыня Прасковья Александровна, чувствительную благодарность за радушный прием, который я нашел в милом прелестном Вашем приюте. Тригорское останется для меня незабвенным, и не только по воспоминаниям поэта, который провел там лучшие минуты своей поэтической жизни. Для чего не

последовал он велению своего сердца и гения и не возвратился в Михайловские кущи...

На скат тригорского холма.

...Милая и умная почитательница великого русского таланта Мария Ивановна поможет Вам в патриотическом труде и перепишет своею рукою Ваши строки о Вашем незабвенном друге, который заслужил нечто лучшее самой славы: слезы красоты и невинности; я видел их и они пали и на мое сердце. В память о них осмеливаюсь препроводить новое издание «Онегина». Не забудьте того, который унесет с собой искреннюю к Вам привязанность далеко, далеко, и только в воспоминаниях будет искать утешения в разлуке с отечеством...

Вот и стихи на кончину поэта. Я уверен, что они и Вам так же понравятся, как здесь всем почитателям и друзьям поэта.

С совершенной преданностью имею честь быть

Вашим покорным слугой

А. Тургенев.

Февраля 17-го 1837 года, Тригорское.

Я получила очень скоро письмо Ваше от 10-го числа, милостивый Государь Александр Иванович, и тотчас же ответила по почте. Но теперь я пишу к Вам по случаю и без боязни, чтобы нескромные глаза не взглянули на мои строки. Я чрезмерно рада, что Вы приехали домой, благодарна более, чем могу то изъяснить, за приятное о том извещение, счастлива получением прекрасного портрета, которому обстоятельства придают так несказанно большую цену в глазах моих — но должна признаться, что ни я, ниже моя Мария мы не можем быть покойны, пока Вы не

будете так благосклонны и не скажете нам откровенно, не навела ли Вам н е з а б у д к а *какой новой неприятности.*

...Я знаю, что вдова Александра Сергеевича не будет сюда и я этому рада. Не знаю, поймете ли Вы то чувство, которое меня заставляет теперь бояться ее видеть... но многое должно было бы Вам рассказать, чтобы вполне изъяснить все, что у меня на душе — и что я знаю — наконец «к чему ж теперь рыданья и жалкий лепет оправданья». Но ужас берет, как вспомнишь всю цепь сего происшествия. —

Мимолетное видение, в котором Вы были в Тригорске, никогда не изгладится из моей памяти.

Я сказала Вам, что отягчало душу мою. С истинным чувством почтения и сердечной преданности я честь имею

Милостивый Государь
быть Вам преданная
Прасковья Осипова.

11

Последнее письмо Прасковьи Александровны Тургенев получил уже в Москве, где, в ожидании отъезда за границу, коротал дни, работая в Архиве. Н е з а б у д к а не навела ему неприятностей; напротив, встретив на бале у французского посла, государь подозвал его к себе и сказал во всеуслышание: «Благодарю тебя, Тургенев, очень благодарю. Я читал твои бумаги с удовольствием; ты много трудился», — и прибавил милостиво: «Теперь благословляю тебя; поезжай, куда хотел; но попрошу тебя об одном: другим не занимайся».

У Тургенева камень свалился с души: всякий раз, приезжая в Россию, он втайне потрухивал: что, если не выпустят обратно?

Россию он звал отечеством, Францию — отчизной, постоянно тосковал то по одной, то по другой, но когда переезжал русскую границу и видел вновь шлагбаум и часового в полосатой будке, ему становилось не по себе, как-то жутко и душно: отечество представлялось ему громадной жаркой печью, в которую затянет невзначай — и не заметишь, как пропадешь.

На этот раз все сошло благополучно; и он не мог не подумать про себя, что милость государя объяснялась отчасти удачным исполнением августейшего повеления: проводы и погребение Пушкина прошли незаметно, без всяких и з ъ я в л е н и й; правительство осталось Тургеневым довольно.

Он перечитал письмо Осиповой; в нем было одно грустное известие: вскоре после отъезда Тургенева Маша заболела горячкой, состояние ее до сих пор внушало матери опасения. Тургеневу вспомнилось милое детское лицо, решительный взгляд серых глаз, упрямое движение губ, когда она сказала: «Я никогда не выйду замуж, никогда не уеду», — но это воспоминание расплылось уже, как утреннее облако, и вызывало в нем не горькое сожаление, а нежную поэтическую грусть.

Он тут же присел и мигом набросал ответ:

> *«...Горячка милой Марии Ивановны и испугала и огорчила меня, и тронула также. Опять расстояние ужасно. Не смею просить Вас еще раз написать ко мне, но вы сами пожелаете успокоить искренне и всей душой Вам и Вашим преданного.*
>
> *Часто останавливается мысль и память не на одних могилах; но живые и милые разве не то же, что и мертвые — для отдаленного? Простите — грустно.*

Пора в Архив, где займусь только таким прошлым, от коего не болит сердце.

Целую нежно руки Ваши и Ваших».

Стоял уже апрель, наступала Святая неделя. Весь день московские колокола наполняли воздух гудением. Весна в этом году была ранняя, и хотя кучки бурого снега пятнили еще там и сям улицы, небо сияло глубокой синевой; острая свежесть воздуха волновала Тургенева, и с каждым днем его сильнее мучила дорожная тяга, нетерпение увидеть Париж, библиотеки, театры, — а главное брата Николая и свою любимицу, маленькую племянницу Сашку. Каждый отъезд из России — а сколько их уже было — казался ему праздником, подарком судьбы.

Переписывая письмо к Прасковье Александровне, он вдруг вспомнил, что Пушкину так и не удалось ни разу вырваться за границу. И эта мысль кольнула его, как укор совести.

12

Несколько лет спустя Сергей Львович Пушкин, ставший вновь соседом Осиповых по имению, неожиданно для всех пламенно влюбился в Машу и посватался к ней, вообразив себя Мазепой, способным прельстить юную Марию. Прасковья Александровна немедля отвергла предложение, не скрывая своего негодования и даже некоторой личной обиды.

Машиного мнения не спросили; но она не стала бы противоречить матери: ей самой был неприятен этот влюбленный старичок, глухой, картавый и красполицый, своей живостью и манерами иногда кощунственно напоминавший сына; возможность стать посмертной мачехой поэта, бабушкой его детей, казалась Маше злой насмешкой.

И еще много, много позже, в 1866 году, молодой литератор Михаил Иванович Семевский приехал как-то летним утром в Тригорское, отыскивать там следы пребывания поэта. Он никак не ожидал, что найдет и живую память о нем: его встретила небольшая худенькая женщина в темном платье, с желтоватым, но сохранившим чистоту линий лицом — такие лица бывают у монахинь — с пучком седеющих волос, по-старомодному заколотых на макушке: последняя девица Осипова, Мария Ивановна, всю жизнь безвыездно проведшая в Тригорском.

Она водила литератора по низеньким комнатам, показала ему сад, и на горе, над самой Соротью, зеленую полянку, окруженную липами, — «липовую залу», где танцевала когда-то тригорская молодежь; она рассказывала ему чистым, незвонким голосом:

— Сестра Евпраксия, бывало, заваривает нам после обеда жженку: сестра прекрасно ее варила, да и Пушкин любил, чтобы она заваривала жженку. И вот мы сидим, беседуем да из больших бокалов распиваем пунш. И что за речи несмолкаемые, дивные стихи Языкова и Пушкина! Языков был страшно застенчив, но и тот, бывало, разгорячится, куда пропадет застенчивость, — и что за стихи говорил он, то за чашей пунша, то у ног той же Евпраксии Николаевны.

Литератор торопливо заносил все в записную книжку, поправляя очки и мусоля карандаш; он был очень взволнован своей находкой, — и, конечно, он не знал точного возраста хозяйки, иначе ему нетрудно было бы вычислить, что в 1826 году, в то счастливое поэтическое лето, когда Языков гостил в Тригорском, Маше было всего шесть лет и она не могла вести бесед за высокими бокалами пунша.

Потом они вернулись в дом, в прохладные тихие комнаты. Семевский с любопытством глядел на ста-

ренькое роялино Тишнера, на семейные, потемневшие от времени портреты, — среди них была и литография с Брюлловского портрета Александра Тургенева. Литератор постоял перед ней, всматриваясь в лукавые, полные жизни глаза и толстое, добродушное лицо с ямочкой на подбородке. Потом он рылся в старых книжных шкафчиках, где все те же книги дремали за зелеными занавесками на колечках — и он думал о том, какая у него отличная получится статья для журнала.

— Каждый день, часу в третьем пополудни, Пушкин являлся к нам из Михайловского. Приезжал он обыкновенно на прекрасном аргамаке, а то, бывало, притащится и на крестьянской лошаденке, ноги у него чуть не по земле волочатся. Все у нас, бывало, сидят за столом, кто читает, кто работает; сестра Александра дивно играла на фортепиано, — рассказывала Мария Ивановна своим ровным голосом.

Но она и сама не делала подсчета годам; она никого не хотела обманывать, и не обманывала: слышанное, запомнившееся, пережитое — все с давних пор слилось в одно в верном Машином сердце.

«Мосты» № 8–1961 г.

ALMA MATER

В огромной Halle берлинского университета, в углу, под черными досками с расписанием лекций - одинокая фигура. Смущенная улыбка, беспомощный взгляд — в руках книжка с расписанием лекций. Все это значит: иностранец — или иностранка — на первом семестре.

Как не растеряться на первых порах? По расписанию на одном только философском факультете 542 лекции. Из них ни одной обязательной. Предоставляется полная свобода.

Иностранцам, особенно русским, и особенно, конечно, студенткам-женщинам эта прославленная «академическая свобода» доставляет вначале много неприятных минут. Приученные к обязательному и необязательному, к ежегодным экзаменам — они пугаются этой на вид ничем не ограниченной свободы.

— Что же надо слушать?

— Все, что вам угодно.

— Какие экзамены сдавать?

— Пока никаких. Через три или четыре года, когда напишете работу, сдадите и экзамены.

Русская барышня теряется окончательно.

Собеседник-немец снисходительно улыбается.

— Да ведь вы же сами знаете, что вас интересует больше? — В том-то и беда, что нет, но в этом неловко сознаться. В расписании так много «ужасно инте-

ресного»: тут и буддизм, и психология ребенка, и санскритский язык, и история музыки — не говоря уже о таких обыкновенных вещах, как история, литература и прочее. Совместить все это невозможно. Что выбрать, от чего отказаться?

* *
*

Мучительные минуты приходится пережить такой студентке и на имматрикуляции — когда по установленному обычаю каждый вносит в большую книгу свое имя и избранную специальность. Конечно, такая запись - пустая формальность, но новичкам кажется, что в эту минуту решается навеки их судьба.

Все прежние планы и решения начинают казаться сомнительными. Да полно, так ли? Нужно ли это?

— Послушайте, — взволнованным шепотом обращается новоиспеченная студентка к своей случайной соседке, тоже русской, — как по-вашему, стоит ли мне заниматься историей? Может быть мне лучше выбрать химию?

— А вы интересуетесь химией? — осторожно осведомляется соседка.

— Н-не особенно, откровенно говоря.

Соседка открывает рот, чтобы возразить что-то.

— Вы совершенно правы, — в отчаянии перебивает первая, — действительно, заниматься нелюбимым делом — ужасно... Нет, решено, выбираю историю. Меня всегда к истории влекло.

В этот момент она слышит голос чиновника, выкликающего ее фамилию. Она вскакивает, спешит к столу и дрожащим почерком выводит в графе "Hauptfach" — Chemie.

Не удивляйтесь, если через две недели встретите ее на лекции по политической экономии.

* *
*

Первые два семестра у иностранцев неизбежно пропадают.

В первый семестр привыкают к академической свободе.

Во второй - отвыкают от нее.

В первый семестр дают себе полную волю — бегают с утра до вечера по лекциям всех факультетов — из библиотек выписывают книги Вейнингера и Стриндберга.

Ко второму — вдруг замечают: академическая свобода — фикция.

Чтобы окончить университет, надо сосредоточить силы и интерес на очень узком, ограниченном пространстве, и не позволять себе никаких отклонений от намеченного плана.

Сообразив это - прощаются с «интересными» книжками и лекциями, со вздохом плотно усаживаются под зеленой лампочкой Государственной библиотеки или в мрачной комнате своего семинара, окружают себя толстыми, внушающими почтение томами и так проводят дни. После этого занятия начинают идти на лад.

* *
*

Кроме академической свободы, русских в Берлинском университете вначале тяготит одиночество.

Университет подавляет своей огромностью, грандиозными размерами аудиторий, длиной коридоров, количеством студентов.

Вновь поступающие вначале невольно теряются — ощущают себя незаметными винтиками огромной, сложной, безукоризненно работающей машины.

Кроме того с понятием университета мы все привыкли связывать представление о шумной, оживленной, крепко спаянной общими интересами толпе товарищей. А этого в Берлинском университете нет. Большинство живет и учится обособленно, замкнуто — одиноко.

Студенчества, как целого, как единого организма, — нет. Это объясняется, во-первых, огромным количеством учащихся, а во-вторых, и предметной системой.

Кроме того, немцы по характеру малообщительны — знакомятся туго, сходятся с трудом, особенно с иностранцами, и в отношениях долго соблюдаются церемонность и чопорность.

Можно в течение года посещать лекции и не знать в университете ни души. Даже в семинариях, где работают совместно всего 30–40 человек, разговоры ограничиваются лаконическим "guten Tag".

Не то стесняются, не то намеренно избегают друг друга. Но русские — дело иное. Русские, как известно, без знакомых жить не могут. Поэтому они сначала страдают от одиночества; потом привыкают или же обрастают компанией соотечественников. Своих узнают за версту по внешнему облику, по костюму, даже по выражению лица, и всегда безошибочно.

* *
*

В библиотеках, в аудиториях, даже в студенческой столовой — Erfrischungsraum — царит почти гробовая тишина. Едят, пьют — молча, разговаривают вполголоса. Если кто-нибудь слишком громко засмеется — все невольно оборачиваются.

Признак большой культуры или полного отсутствия темперамента? Русских эта тишина часто раздражает. Пробуждается желание крикнуть, засмеяться самым шокирующим образом. Вздыхают: «Вот у нас в России,

в университетской столовой — представляете себе?» Зато иная картина вам представляется в "Institut für Ausländer". В здании университета отведены две комнаты под это учреждение. Цель его — ознакомление иностранцев с немецкой культурой. При нем — курсы немецкого языка и порядочная библиотека.

Вы входите в библиотеку — невиданное зрелище поражает вас. В комнате как будто собраны представители всех национальностей земного шара и всех оттенков человеческой кожи: тут и коричневые, застенчиво улыбающиеся индусы, и непроницаемые японцы, громкие сербы, добродушные шведы... В комнате стоит легкий гул разноязычного перешептывания.

Вначале вам это очень нравится: по крайней мере, живые люди, а не машины. Вы берете книгу, садитесь и принимаетесь за чтение.

Вдруг слева к вам доносится:

— Уже половина второго, отчего же ты не идешь обедать?

— Мне не хочется, — отвечает соседка справа таким голосом, как будто бы подруга ее находилась в соседней комнате.

— А, — мысленно отмечаете вы и пробуете углубиться в чтение.

— А я тебе говорю, что надо обедать, — резонирует подруга, — как это не будешь обедать?

Неожиданно для вас самих вам приходит в голову, что не такая уж плохая привычка у немцев — молчать в читальнях.

— Я уже видеть не могу этой вегетарианской, — доносится слева.

— А что тебе там вчера дали к обеду? — живо заинтересовывается подруга.

Проходит несколько минут. Перечитав в десятый раз те же строки и не поняв из них ни слова, вы,

наконец, подымаете голову, испускаете глубокий вздох и кротко глядите по сторонам.

— Мы кажется мешаем читать, — конфузится антивегетарианка.

— Неужели?

* *
*

Весной зеленеют вековые деревья университетского сада, расцветает сирень. Сад наполняется молодежью.

Зато медленно, но верно, в прямой зависимости от хорошей погоды, пустеют аудитории и семинары. Профессора давно примирились с этим обстоятельством, острят над ним и вместе со студентами жалуются на устарелое распределение учебного времени.

Действительно — летний семестр начинается в мае и тянется до конца июля, то есть занимает самые жаркие летние месяцы.

А летом заниматься трудно. В открытые окна вливается солнечный свет, заглядывают ветки, чуть ли не доносится птичий щебет. Разморенные жарой и усталостью мозги туго соображают.

И назойливо лезет в глаза вырезанное кем-то на парте мудрое изречение:

Wenn alle schlafen, einer spricht —
Das nennt man einen Unterricht.

* *
*

В среде русских студентов различно отношение к университету. Молодежь совсем зеленая, являющаяся в университет с огромным сравнительно житейским опытом и очень скромным запасом знаний, ожидающая от профессоров каких-то откровений, — на первых

порах испытывает разочарование, наблюдая кропотливые, методические, лишенные творческих вспышек приемы немецкой науки и заявляет безапелляционно: «Нам у немцев нечему учиться». Молодежь более зрелая, ближе стоящая к науке проявляет по отношению к университету больше уважения и даже некоторую нежность.

Может быть потому, что стены университета, как некая тихая пристань, ограждают от мучительно-назойливых жизненных вопросов: Ну, а потом? А дальше куда же?

Прячась за толстыми фолиантами, студенты пытаются найти временное решение в обнадеживающем ответе:

— Пока наше дело — учиться, а там — время покажет...

«Дни» № 443, 23.IV.1924 г.

БРИДЖ

Правила бриджа исполнены высокой мудрости: трудно поверить, что их выдумал человек. Конечно, много значит мастерство, талант; но успех зависит от карт, а карты даются случаем, или, если угодно, природой: хорошо, если по праву рожденья козыри веером раскинутся в руке; ну, не сплошные козыри — так хоть картинки, — король повернется гордым профилем, дама, оттопырив пальчик, прижмет тюльпан к пышной груди, и туз на белом поле грозно зачернеет или зацветет багрянцем. Но если судьба обделила и картами, и счастливым партнером — не помогут ни терпение, ни усердие: придется пасовать перед другими, тринадцать карт, одна за другой, перейдут к противникам, последними уйдут надежды, — и смысл затянувшейся игры до конца останется неразгаданным.

В бридже, как и в жизни, допускается блеф; но только в известных размерах. Лучше не объявлять высокой игры, когда на руках одни четверки да девятки растянулись колючим частоколом: противники не задумаются контрировать вас и дело может кончиться сугубым проигрышем.

Молодой человек, стоявший у окна в коридоре вагона, блефовал умеренно; только опытный глаз различил бы, что внешность его — просто крап; все — как у всех; спортивный костюм может быть сшит у лучшего портного, а может быть — выторгован на распродаже; и огромный рубин на мизинце — не слишком ли густой

отливает кровью? Но даже внимательный наблюдатель не догадался бы о маленьком — впрочем, совершенно невинном — обмане: молодой человек стоял в коридоре второго класса с билетом третьего; этот билет он в кармане нащупывал пальцами; и для контроля — ведь неизвестно, какая выпадет карта — заготовил ответ: «иду в вагон-ресторан пить кофе».

Щелкнув затвором, он пальцем толкнул зубчатое колесико зажигалки: мгновенно возникло ровное, желтое пламя.

— Простите, — сказал тут женский голос, — разрешите мне прикурить?

Молодой человек был приятно удивлен: противник вступил в игру, не дождавшись своей очереди; перед ним, очевидно, был неопытный игрок. Вступительная фраза его обычно затрудняла: он избегал шаблона, оригинальные же приемы игры давались нелегко.

Чуть поклонившись, он подал зажигалку; тонкая папироска потянулась к огню.

Он мог бы остановиться, конечно, и в коридоре первого класса; но его внимание задержала именно эта лакированная черная головка; суженные в устьях зеленоватые глаза смотрели лукаво из-под тончайших бровей; фигуркой она была мелковата, но все в ней казалось ловко прилаженным и элегантным, как и дорожный синий костюм.

Два рыжих огонька установили контакт: разговориться было нетрудно.

Через несколько минут он узнал, что она гостила в Берлине у тетки и теперь возвращается в Дрезден.

— Ах, в Дрезден, — сказал он, задумчиво соображая.

Она прибавила с детской доверчивостью, что папа с мамой давно ждут ее и папа, может быть, сам приедет за ней к поезду на автомобиле.

— А ваш папа, — начал было он с любопытством, и вовремя спохватился, — он тоже живет в Дрездене?

— Папа целые дни на фабрике, за городом, — пояснила она, — он очень занят. У нас самая большая кожевенная фабрика в Саксонии, — вы, может быть, слыхали? — и она назвала фамилию.

— М-м, — ответил он неопределенно.

В начале партии надо выманивать козыри у противников — это одно из основных правил бриджа. Но такой до смешного легкой игры ему никогда еще не случалось вести, — точно по руководству для начинающих.

— У нас большой-большой дом, и сад спускается вниз к самой Эльбе, — сказала барышня мечтательно.

Молодой человек с детства твердо усвоил правило: работа никого не позорит — Arbeit schändet nicht. Карты были лишь побочным его занятием; по профессии же он был женихом. Эту профессию он справедливо считал прибыльнее многих других: друг его Эрнст, ясноглазый балагур, дожениховствовался до приличной четырехместной машины; ему же до сих пор не везло; но теперь он почувствовал: повалила счастливая карта; малый, большой ли шлем — неизвестно, но уж наверно можно сыграть без козырей и самому выйти в тузы.

— А вы куда едете?

— Я? Я еду в имение, — ответил он, подумав, и прибавил, щелчком сгоняя пушинку с рукава, — охотиться.

— В имение? — спросила она. — Это наверно далеко? Как жаль!

— Почему же?

Но она отвернулась, взявшись рукой за оконный ремень.

Если его можно было сравнить с бубновым — забубенным! — валетом, то она была вылитая дама треф: такая же тоненькая брюнеточка.

На мутном стекле ее профиль темнел опечаленно, — и, почти растроганный, он не задумываясь сбросил крупную карту:

— Я мог остановиться в Дрездене на несколько дней, если бы знал, что увижу вас...

— Не знаю, как папа, — ответила она застенчиво, — он не любит дорожных знакомств, но мы могли бы, может быть, встретиться как-нибудь вечером.

Тут она посторонилась, заслышав за собой шаги в коридоре. Поезд полусонно покачивался, уютные серые струйки торопливо расчерчивали стекла.

Посторонился и он, не глядя, — и вдруг над ухом его грянул крепкий бас.

— Ваши билеты, господа!

От досады он даже чуть покраснел. В азарте, увлекшись игрой, он совершенно позабыл о контроле. Неловкими пальцами он полез в бумажник, стал торопливо листать кожаные отделения, роясь в их глубинах, и уже решил было объявить, что потерял билет, — когда прозвучал голосок, робея:

— Я только на минутку остановилась здесь: я иду в вагон-ресторан пить кофе.

— С билетом третьего класса не стоят во втором, сударыня, — возразил контролер поучительно, но не слишком строго, — это воспрещается железнодорожным уставом.

И только тут — как можно было не заметить этого раньше? — он увидел в руке ее небольшой синий чемоданчик, — дешевенький, из крепкой папки, — в котором, конечно, помещался весь багаж: шелковая комбинация да зубная щетка.

Контролер обратился к нему, но молодой человек, продолжая рыться в бумажнике, небрежно шагнул вперед, великолепно скрипнул желтый ботинок, — и контролер послушно последовал за ним.

И он не заключил контракта, не перекинул мостика: бридж не состоялся. Он даже не попрощался с брюнеточкой, что, конечно, было невежливо; но он был слишком возмущен.

А мораль? Пусть мораль звонкой картой щелкнет о стол: последняя взятка принадлежит мне. В известных размерах, как уже сказано, допускается блеф, но только для одного из партнеров — для того, кто ведет игру. Другой же открывает карты; по мастям, в строгом порядке — козыри слева — карты колонками ложатся на стол.

Иначе игра теряет всякий смысл.

«Руль» № 2902, 15.VI.1930 г.

ХИРОМАНТИЯ

Разговор иссякал, вытекая по каплям. Уже бахрома скатерти вся пошла волнами от расплетенных косичек; уже хозяйка, бледная от утомления, в тоске подыскивала фразу, которая могла бы послужить напутствием засидевшемуся гостю и одновременно создала бы впечатление уютно проведенного вечера; а хозяин, шевеля широкими бровями, соображал, что если бы выйти в соседнюю комнату и там отзеваться вволю, то все было бы ничего и, пожалуй, можно было бы еще продолжать разговор об экономическом положении Америки. Барышни совсем скисли: у них откровенно слипались веки; и только гость, прочно застрявший в уютной глуби кресла, безмятежно ронял: «так, так, вот оно как» — и, казалось, не чувствовал ни неловкости, ни утомления.

Большая, в меру мясистая рука хозяина лежала неподвижно на столе; золотое кольцо на пальце по-старомодному было широко и добродетельно.

— А ну-ка, — сказал гость и дотронулся до этой руки, но не для прощального пожатия, как все с облегчением подумали, — а для того, чтобы перевернуть ее, как тарелку, ладонью вверх, потянуть ее к себе, — посмотрим, Лев Максимыч, написано ли вам еще на роду быть богатым?

— А вы разве умеете? — хозяин слегка оживился и шевельнулся в кресле — Рассказывайте, рассказывайте.

— Еще бы не уметь... Хиромантия или пальмистрия — древнейшая наука... недаром говорится — все как на ладони, — бормотал гость, как будто не вовсе в шутку; такая уж была его манера.

Сеть линий неправильным, тисненым по жесткой коже узором расположилась на ладони, и, пересекая мелкие сплетения, выделялись размашистые три, образуя отчетливо «М».

— Занятно, — сказал гость, равнодушно приглядываясь, — хорошая рука, энергичная. Линия судьбы на редкость ясная.

— И мне! — сказали тут в один голос хозяйка и обе барышни, и три ладони лодочками потянулись через стол.

Ему захотелось улыбнуться, но углы тяжелого рта не поднялись, только меж бровей углубилась насмешливая складка. Он знал: в каком бы обществе, в какой стране ни затеять легкомысленной игры в судьбу — со всех сторон, вот как теперь, потянутся нетерпеливые ладони; и у всех, даже у стариков, которые давно бы, казалось, должны были покончить и с надеждами, и с разочарованиями, в глазах будет вопрос: а я? что со мной? — и за этим невысказанное: ведь правда же, что моя судьба совсем особенная, удивительная, что еще будет и сбудется многое?

— Виноват, — сказал он дамам серьезно, — прошу записаться в очередь.

Хозяин, выворачивая правую ладонь, чуть насмешливо улыбаясь, ждал продолжения.

— Итак, линия судьбы, — начал гость деловито, — впрочем, не начать ли с пояса Венеры?

— Как? — испугался хозяин.

— Классический, древними освященный путь — справа налево, от Венеры к Меркурию. Но мы можем, если угодно, справиться и слева направо, — говорил

гость. К его бритому лицу в строгих складках не шел нежно модулирующий голос, вязкий и сладкий, как варенье.

— Пояс Меркурия, легконогого веселого бога, — вот тут под мизинцем: он таит в себе коммерческие навыки, жизненную легкость, практическую приспособленность. Способности прекрасные, что и говорить, — сказал он, припомнив кстати, что хозяин стоял некогда во главе крупного лесного предприятия, — и чувствуется этакая широкая русская натура — в хорошем смысле, — прибавил он, заметив, что хозяин поморщился, — но... не эти черты доминируют над вашим характером...

Младшая барышня тихонько засмеялась в скрещенные у рта пальцы, хозяйка холодно повела бровью.

— А что же Венера? — спросила старшая, племянница хозяйки, слегка опираясь ладонью о плечо хозяина, она внимательнее всех следила за гаданьем; очень пышные, стоймя стоявшие волосы золотились под низкой лампой; и хозяин, не оглядываясь на нее, улыбнулся вопросу и, выпятив нижнюю губу, пустил дым к потолку осторожно, чтобы ее не обеспокоить.

— Секундочку, — ответил гость с расстановкой и вдруг необыкновенно оживился, даже порозовел и вскинул голову; безвольно отяжелевшую руку хозяина он приблизил к глазам, и тот почувствовал на ладони влажное и жаркое дыхание.

— Удивительно. Жаль, что лупы нет. Впрочем, и так разглядеть можно.

— Что такое? — осведомился заранее польщенный и чуть встревоженный хозяин.

— В самом деле, очень интересно. Бывает, конечно, но так ясно я еще никогда... А ну-ка, согните руку. Так, так...

— Да что вы там нашли? — спросил уже в беспо-

койстве хозяин, — так спрашивают врача, который, не скрывая своего восторга по поводу интересного заболевания, медлит с диагнозом.

— Вот видите — начинается внизу, у истока всех линий, и поднимается, кончаясь между большим и указательным пальцем, — и, объясняя, он чувствовал стеснение в груди, щемящий беспокойный восторг, похожий на вдохновение, — это — линия жизни. Теперь глядите вот тут, — и ногтем он, торопясь, отчеркнул на ладони линию, — из пояса Венеры, вот, под большим пальцем, выбегает черточка, и раз! пересекает и линию жизни, и даже линию судьбы. Это, конечно, переживание личное, вернее всего большая страсть, и линия сердца у вас сумасбродная, под каким углом загибается вверх...

Он забыл, что, затеяв игру, хотел только сгладить впечатление скуки; уже наплывали на него, все увеличиваясь, точно к ним приближался объектив аппарата, строгие линии, превращаясь в подлинные трудные пути: так всегда с ним бывало, когда он не в меру увлекался сомнительным своим искусством.

— Интересно, что линия жизни мало того что пресекается — просто прерывается, и только немного отступя начинается снова, будто в новом русле. Но вот что всего замечательней, — сказал он, сияя от удовольствия и не выпуская руки хозяина, — это то, что вся эта комбинация повторяется точка в точку лет через двадцать, как говорится — на склоне дней... Опять новая страсть пересекает судьбу и жизнь — я бы сказал, готовится пересечь, потому что линия еще только намечается... и точно так же...

Но тут рука хозяина дрогнула и стала потихоньку уплывать. Он перехватил ее у запястья, но она взметнула пальцами, как рыба хвостом, вырвалась и нырнула под скатерть.

Гость поднял глаза, не понимая значения внезапной тишины за столом. С длинным, медленно замирающим звоном упала ложечка, и хозяин полез под стол искать ее, искал долго, и когда вылез, был по самую лысину красен, от напряжения. Хозяйка смотрела неподвижно, высокомерно вскинув узкие брови, а племянница ее, чуть отвернувшись, приглаживала пышную вздымавшуюся прядь над лбом, и как будто от этого движения раз за разом приливала к ее лицу яркая кровь.

Быстро сопоставляя в уме обрывки петербургских сплетен, темные берлинские слухи, гость понял, что нечаянно вскрыл сложную опасную игру, в которую замешаны были присутствующие, неосторожным прикосновением, может быть, вызвал новые, роковые скрещения линий.

И он растерялся — что с ним случалось не часто; нельзя было сейчас же уйти и совершенно невозможно было оставаться. Выручила хозяйская дочка — вправду ли ничего не понявшая, или по-детски ловко схитрившая:

— А теперь мне погадайте.

— Слушаю, Клара Львовна, — сказал он с той с виду безграничной покорностью, которая так нравится барышням. — Какая она вам Львовна, — вступилась мать, слишком раздраженно, — курам на смех! просто Клара! — он уже держал в руке розовую ладонь, такую гладкую, что ему на секунду захотелось почувствовать на щеке ее свежее и сухое прикосновение.

— Сколько вам лет, Клара Львовна, — спросил он очень почтительно, — семнадцать? Ну вот видите ли: будущего я не умею предсказывать, прошлого у вас нет, а настоящее и так понятно. В семнадцать лет ведь только все и начинается. Задатки-то есть, задатки имеются, — сказал он, улыбаясь вверх, прямо в глаза

Клары — отцовские, чуть выпуклые, влажно блестящие глаза.

— А что начнется? — спросила Клара тихо.

— Да, разное, — и он выпустил, слегка пожав, ее руку и взглянул на часы, неубедительно изобразил испуг, — Бог ты мой, как я засиделся! А ведь вам небось рано вставать...

Клара вызвалась, к его облегчению, проводить его вниз. Остальные не вышли в переднюю, и, целуя руку хозяйки, он со смутным раскаянием подумал, что его, вероятно, уже никогда не позовут больше в этот дом. Хозяйка старательно улыбалась, но уже через минуту он услышал, как где-то, точно не выдержав долгого напряжения, с размаху грохнула дверь и покатилось что-то жалобным стеклянным звоном.

«Пальмистрия, древнейшая из наук...» Пока лифт гудел в узком, аккуратно вымеренном своем пролете, он, в рассеянии глядя на Кларины ровные брови, соображал: точно ли было кощунственным и преступным его вторжение в чужие жизни и где начало его вины?

— Федор Андреич, — позвала Клара, спускаясь за ним по последним неслышным ступеням; при родителях она была очень смела с ним, наедине же смущалась.

— Да, Кларочка?

— А вы мне так и не сказали, что начнется после семнадцати лет?

— После семнадцати? — повторил он задумчиво. Она отвела глаза. И тут он, вероятно, понял, что не в его власти изменить чью-либо судьбу, что можно только задержать или ускорить неотвратимый ход, — потому что он ответил серьезно:

— Пусть это послужит началом, — и, сняв шляпу, вежливо поцеловал сначала розоватую ладонь, а потом мягкие, от удивления раскрывшиеся губы.

«Руль» № 3004, 12.X.1930 г.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ БЕРЛИНА В ЛЕЙПЦИГ

...с быстрой, тонкой болью
переместились жизни.
М. Горлин.

Берлин.

Пять часов утра — звездное время зимой, птичье время летом, но человеку в этот час свойственно, ни о чем не помня, уплывать в самый черный, самый бездонный сон.

В шесть часов утра — зимой — улицы звонки, как металл, спят фонари в радужных ореолах, дремлют шоферы, надвинув козырьки на глаза, звезды уходят под крыши; не спят только подземные, желтые и красные, юркие вагоны.

И может случиться, что когда, пристроив чемоданчик у ног, ухватясь одной рукой за медную тонкую колонку и раскачиваясь вместе с вагоном, вы будете думать о чем-то своем — путаными, тусклыми словами, как думается в шесть утра, — на вас неожиданно сбоку, сильно толкнув в плечо, навалится что-то большое и темное. Не успев еще ничего понять в невольном испуге и отвращении, вы отпрянете в сторону, — и это большое, мягкой куклой, плавно рухнет на пол, на чемоданы, — и окажется человеком немолодым, рабочим с зеленым лоснящимся лицом, в котором рот темнеет круглым провалом. «Обморок», скажет один, «видно выпил вчера», скажет другой и кто-нибудь — не вы —

захлопочет над этим человеком. На следующей остановке его вынесут на руках из вагона, а вы сядете на освободившееся место, и с тяжелым и бесцельным упорством разглядывая двух напротив сидящих работниц — одну в красной шляпе и бежевом пальто, другую в бежевой шляпе и красном пальто, — будете тоскливо соображать, как хорошо было бы, если бы они догадались поменяться шляпами.

Лукенвальде.

Ангальтский вокзал совершенно равнодушен к окружающим, потому он и не стоит серьезного внимания. Но вы заметите, быть может, что, начинаясь грандиозно: размашистым фасадом, внушительным холлом, — он суживается в главной лестнице, еще больше сжимается в перроне, и переход к тесному купе, в частности — к уголку у окна, покажется вам вполне последовательным. Только в этом временном маленьком доме вы почувствуете усталость; подавив зевок, виском прильнете к занавеске кофейного цвета и осмыслите симптомы болезни, называемой ранним вставанием: в горле, губах и веках лихорадочную сухость и жар.

Грудной ребенок тоненько запищит, выпростав липкий кулачок из-под байкового одеяла, и мать, застенчиво покосившись на соседей, зачмокает на него губами. Вы же, может быть, и не заметили, что уже началось чудо: вместе со снежными полями и ныряющей телеграфной проволокой, за окном, никем не замечаемые, несутся вперегонку пространство и время. Вы уже вышли из одного привычного жизненного плана и еще не попали в другой. Между ними переброшен мостик — дорога, и ее вы проводите в иллюзорной неподвижности в тесной коробочке, устроенной по подобию жилого дома: легко колышутся занавески, в сетке вздрагивают чемоданы, — и на протяжении всего пути

вы почти не ощущаете движения и перемены: милая, седая и грустная дама все так же дремлет в углу; веки ее безвольно трепещут при сильных толчках; краснолицый господин с бобриком, в роговых очках, помутившихся от его страшных зевков, все так же пучит губы и почесывает затылок над крестословицей в Illustrierte; и только молодая мать, прижимая к груди ребенка и сумочку, выходит в Лукенвальде, уступая место другому герою на час — высокому плечистому типу в кепке.

Виттенберг.

У него на запястье повыше ладони голубым пунктиром искусно выведен якорь. По тому, как он сидит, широко расставив колени, и по крепкому загару, насквозь просолившему его лицо и руки, — зубы его и белки блестят, как у негра, — можно догадаться, что он моряк. В сухопутной послевоенной Германии моряк — редкое явление, и он, по-видимому, радостно ощущает собственную исключительность и занятность; весело блестящими глазами оглядывает спутников, вынув трубку, большим пальцем бережно уминает черный табак и, наконец закурив, обращается к вам: он выспался и не прочь поболтать.

«Третий день еду из Гамбурга: сутки провел в Берлине, нынешнюю ночь — у приятеля в Лукенвальде, а сейчас еду в Биттерфельд».

Бросьте теперь в разговор, как сухой хворост в огонь, какой-нибудь вопрос — безразлично какой; только не проявляйте для начала слишком откровенного любопытства.

«А вам уже случалось бывать в Биттерфельде раньше?»

«А как же! У меня ведь там жена и теща живут». Отлично костер разгорается; теперь не надо и спрашивать: он охотно расскажет сам.

«Я женился два года назад, перед тем, как уйти в плавание. Девчонка еще; у отца в парикмахерской волосы с пола подметала. Шестнадцать лет без малого; без трех месяцев. Я подождал три месяца, и мы уже вывешены были в Штандесамте, — вдруг отец ее умер. Пришлось еще подождать. Утром, прямо из церкви, я поехал на вокзал — и в Гамбург. Жена провожала. Я уехал, а она так и осталась там одна с матерью, тещей моей».

Он смеется, довольный своей необыкновенной женитьбой; спутники, до конца осужденные на роль скромных статистов, теперь одинаково дремлют, каждый в своем уголку, распустив губы и уронив подбородок на грудь.

«Девчонка еще, дура, — говорит он, усмехаясь, — и писать-то еще толком не умеет, теща мне писала, а она приписывала: верно тебя любящая... Что она понимает, девчонка; она меня как огня боялась».

От его хохота милая седая дама вздрагивает и никнет во сне, — вы же с интересом разглядываете его руки: ловкие, костистые, с широкими плоскими ногтями, особенно темные на толстых суставах.

«Зато я-то не дурак, — говорит он, — я, как уезжал из Биттерфельда, пошел в такое, знаете, бюро и дал им фотографию жены: вот, говорю, моя жена, последите, говорю, за ней — и деньги вперед заплатил. Девчонка же, Господи, ни вдова, ни невеста, ни мужняя жена».

— Что же, писали они вам? — спросите вы, уже не скрывая любопытства.

Он запускает руку за пиджак — в наши дни именно мужчины, а не женщины прямо на сердце носят любовные и иные послания, — и протягивает вам на ладони коричневую карточку.

— Вот — один раз написали, в Шербург, и фотографию прислали.

Ах, лучше бы вы на нее не глядели, лучше бы вы никогда не видали этих пухлых щек и крошечных глазок, этой глупой, подвитой челки: у вас остался бы в памяти отвлеченный образ — шестнадцать лет, стремительный и прозрачный возраст. — Рядом с девочкой, на таком же соломенном дачном кресле, сидит, крепко упираясь в землю толстыми ногами, пышная баба с туго обтянутым бюстом и лорнеткой на цепочке, а за ними, на фоне балюстрады, рисуется вялый изжеванный профиль хлыща.

— А это кто? — с деликатностью укажете вы пальцем.

— Их жилец, — ответит он, сияя глазами и зубами, — вон пишут мне — повсюду за ними таскается, с женой танцевал, на лодке катался... Я ему покажу, дураку, кататься.

Пряча карточку, он смеется, подмигивает вам, и видно, как радостно волнует его свидание, как нетерпится ему поскорее нагрянуть, задать им перцу, навести порядок и разрядить прущую из него веселую энергию. Тем временем из будущего в прошлое незаметно уплыл Виттенберг, старый город Лютера; вы приближаетесь к Биттерфельду. В Биттерфельде выходит веселый моряк, вскинув на спину рюкзак и на прощанье с дружеской улыбкой коснувшись пальцем кепки.

Скользить по касательной, не заглядывая в глубины, и моментальными фотографиями, застывшими в двух измерениях обликами заполнять альбомы, — что может быть увлекательней этого? Теперь вы уже поняли, конечно, в чем прелесть дорожных знакомств?

Б и т т е р ф е л ь д.

В Биттерфельде вышел моряк. «Биттерфельд — горькое поле», переводите вы машинально, по привычке — и магическое слово г о р ь к о е, звук которого

так точно соответствует смыслу, в котором слышится горький запах и вкус ромашки, внезапно по-иному окрашивает рассказ моряка, который — признайтесь! — показался вам сначала старомодно-литературным и неправдоподобным.

Но вам не приходится размышлять над этим, потому что на смену моряку дорога, со свойственной ей заботливостью, посылает вам новых спутников — неравную пару: старика, похожего на кинематографического лорда, — нос с благородной горбинкой, изогнутый подбородок, седые бритые щеки, монокль — и молоденькую, синеглазую, смуглую даму в черном, прелестную живостью движений, быстрым лукавством глаз, кудряшками, загибающимися за края шляпы. Как хорошо, что вы никогда не узнаете, кто они друг другу, и что вам можно почти не стесняясь, только для вида раскрыв книгу, следить за ними. Дама, быстро моргая и вертя головой, глазами пересчитает чемоданы, потом сядет, положит одну худощавую, с прекрасным подъемом ногу на другую, сейчас же переменит положение и, повернувшись к старику, станет весело задирать его, намекая на какой-то недавний и для него, по-видимому, конфузный случай — и при этом все время будет коситься на вас, как это делают самолюбивые и застенчивые дети. Старик, ничуть не обидясь, ответит ей намеком на другую историю, в которой главную, может быть, условную роль сыграли ее лакированные туфли; она, разойдясь, ловко и звучно шлепнет его по колену — и в такой веселой, совсем не семейной перепалке пройдет почти все время до Лейпцига. Из их разговора вы еще узнаете, что им предстоит дальний путь, — мимо опереточного Гейдельберга, мимо Фрейбурга, прекраснейшего из городов, — в Базель, а оттуда — на итальянские озера, — и вы уже было отправитесь вслед за ними, увидите вновь мягкие линии гор и светлое,

звездное, низкое небо, — но тут замелькают за окном левые стороны зданий: Лейпциг спиной повернулся к железнодорожным путям.

Когда вы выйдете из вагона и в последний раз оглянетесь на свой временный маленький дом, — окажется, что веселая чета прильнула к окну и улыбаясь глядит вам вслед, а старик даже элегантно сделает вам ручкой. Не обольщайтесь, пожалуйста, этим вниманием, не относите его со свойственной вам самоуверенностью целиком на счет своей особы: просто им, как и вам, весело следить за дорожными тенями и, может быть, чуть-чуть жаль, что вот в эту мелькнувшую и пропавшую они не успели как следует вглядеться.

Лейпциг.

Сказать, что Лейпциг пахнет пушниной — значит ровно ничего не сказать: попробуйте-ка прежде определить запах пушнины, густой ее дух, сладковатый, в котором таится еще запашок испорченной канализации. От этого воздуха у конторских барышень бескровные, желтые лица; и они часто падают в обморок, стукаясь лбами о клавиши машинок.

На углу Брюля и Николайштрассе три патриархальных бородатых еврея в забрызганных пальто, в котелках со специфически изогнутыми полями, так странно жестикулируют, так угрожающе сблизили темные, искаженные волнением лица, что вы подумаете невольно: не о новом ли еретическом толковании Талмуда идет спор? Но, проходя мимо них, вы услышите слова на наречии, которое здесь считается русским:

— Когда я вам говорю — партия жеребков, 4,8 — и такой глянец, такие Locken, — чтоб мои дети были так здоровы!

Так незаметно и непостижимо для вас переместились жизни, и, конечно, труднее всего вам поверить,

что в двух часах пути совершенно независимо от вас и точно так же, как всегда, торопится и шумно дышит Берлин.

Закрыв глаза, вы пробуете уверить себя, что нет ничего, ни Лейпцига, ни Берлина, когда нет вас; но сейчас же вас окликнет знакомый, поздравит с приездом, потребует три марки взаймы, ругнет конъюнктуру и исчезнет в кафе.

И вам ничего не останется другого, как с привычным и неизменно болезненным усилием переключиться в иную жизнь — иных людей, иной говор, иные мысли и заботы.

Как легко было путешествовать Моцарту — в просторной и легкой карете, с молодой смешливой женой. Он приближался к Праге, неторопливыми милями разворачивалась перед ним дорога; в окно следил за склонами холмов, требовал вина в деревенских гостиницах, рвал цветы у дороги, а кучер в высокой шляпе позевывал, сидя на козлах, и ловко щелкал кнутом; и в Прагу Моцарт приехал незаметно преображенный дорогой, готовый к постижению перемены.

Но тот, кто первый на трескучей, рокочущей ракете в два счета обскачет мир, чихнет в Лиссабоне, высморкается в Калькутте, и, не успев спрятать платка, увидит вновь приветственно поднятую руку родной Нью-Йоркской статуи, — тот, заблудившись в тайнах времени и пространства, утратив веру в реальность мира, непременно заплачет и сойдет с ума. Если же не сойдет, а, выкарабкавшись из тесной кабинки, самодовольно и бессмысленно улыбнется фотографам, — тем хуже для него и для мира. В самом деле, чтобы кончить э т и м — неужели стоило влюбляться тысячелетиями?

«Руль», № 3253, 9.VIII.1931 г.

ЖЕРТВА

Мучительны бывали пробуждения. Воспаленные веки разлеплялись с усилием; выступали очертания вещей: черный крест оконного переплета и, прямо против изголовья, темный портрет усатого в высоком воротнике; и если еще в портьерах были какие-то потуги на изящество и был намек на грациозную женственность в складках занавесок, перехваченных на изгибе шнурком, — то уже откровенно, до последнего лоска был вытерт коврик, пробегавший полосой перед постелью, на ночном столике, на треснувшем блюдце, покоились золото-грязные останки папирос; воздух же в комнате был неподвижен и отравлен.

Когда стучались в дверь, Сосновский отворачивался к стене, плотнее сжимая губы, но и не глядя — видел, как, красным локтем нажав на дверную ручку, боком входила Марта; на подносе содрогалась чашка, белый кофейник отфыркивался носиком. Сосновский особенно хорошо знал Марту в профиль: видел перед собой прямой нос и грубо вырезанную ноздрю; нижнюю губу, мягкую, беспомощную, Марта забывала подобрать, и мягкой же безвольной линией убегал назад подбородок.

— Писем сегодня нет, — говорила она тихо.

Писем давно уже не было.

Следующий вопрос он знал наперед, с раздражением мысленно задавал его сам:

— Вы скоро встанете? Хозяйка велела мне убрать...

— Не знаю, — обрывал он грубо.

Марта подавляла вздох, робела и, стараясь выйти неслышно, боками задевала за стулья и комод.

Сосновский лежал лицом к стене, зажмурясь, стиснув зубы; вставать было незачем, в лежании тоже не было ровно никакого смысла, но оно по крайней мере не требовало напряжения воли.

Утра бывали невыносимы; но ночи были хуже. До 11, 12 часов шелестом журнальных страниц, папиросным душным дымом удавалось глушить время. Потом все затихало в соседней комнате, последний трамвай пробегал за окном, сонно, певуче позванивал — у Сосновского тяжелели веки, и, внезапно поверив в усталость и сон, он бросал на стол журнал и начинал торопливо раздеваться.

Но едва он натягивал на подбородок одеяло — как обрадовавшись темноте, неподвижности вещей и мыслей, внезапно оживало сердце. Расширяясь изнутри, оно прерывало обычный мелкий бег на длинную секунду, застывало где-то высоко, и вдруг обрушивалось, воспламеняясь в полете. Сосновский поворачивался на правый бок, раскрытые его губы холодели, ладонью он нащупывал сквозь рубашку исступленно содрогавшиеся мускулы.

— Неврастения, — соображал он, смутно припоминая первые медицинские семестры, — а может быть все-таки что-нибудь органическое.

Но там, внутри, все полыхало и сохло, мучительнее становилось давление, добиралось до горла, горло схватывало тоской — и тогда Сосновский вскакивал, откидывал одеяло и ложился поперек постели, ничком. В ушах у него звенело и перед глазами было черно, как у слепого. Понемногу становилось холодно, он опять прятался под одеяло и лежал съежившись,

мелко, покорно дыша, прислушиваясь к разбушевавшемуся сердцу.

В такие минуты в смятенном сознании возникал — почти осязаемый — круглый кусок льда, — оттаявший по краям, блаженно холодящий. Все прошло, успокоилось бы навсегда, если бы вот такую прозрачную, ускользающую из пальцев льдину положить на грудь, прямо против сердца. Потом в сознании происходила почти неприметная смена; так на скрипичной струне один палец скользя вытесняет другой: круглая льдинка сменялась дулом, таким же холодным и круглым. Револьвер с давних пор лежал в левом ящике письменного стола. Тяжелый не по росту спутник, он проделал с Сосновским многими исхоженный путь: переходил из кармана галифе в потрепанные кем-то брюки, хранился под койкой, и в жаркой гардеробной фильмовых статистов, и в шоферской куртке, пока не спрятался, с виду ко всему равнодушный и усталый, как его хозяин, в ящике письменного стола.

То утро, когда Сосновский вынул револьвер и, внимательно осмотрев его, отодвинул предохранитель, то утро в сущности ничем не отличалось от других; но Сосновскому оно казалось последним. Он подошел к зеркалу в черной раме с резными украшениями; омертвелым и бессмысленно-испуганным показалось ему лицо в зеркале; как будто отрывок из старомодного фильма: такой же небритый, замученный, с револьвером у виска; выстрел; в оркестре скрипки плачут навзрыд; тремоло рояля.

«Не то, — сказал он себе с досадой, — не висок», — и расстегнул пуговицу рубашки; как мерещилось ему ночами, круглое, холодное нежно прильнуло к коже. «Теперь, — сказал он, стараясь улыбнуться лицу в зеркале, — раз...» Но палец был неподвижен, он застыл на курке. Сосновский простоял так с минуту, чего-то

выжидая. Потом рука опустилась, револьвер покатился с неимоверным грохотом, и он в ужасе отпрянул в сторону.

Все это было не ново. Об этом приходилось когда-то читать: атрофия воли, нервный кризис. Что ж? Это не трусость, в сознании нет страха смерти, но вот мускулы хотят сокращаться, теплая кровь стремится к сердцу, кожа вздрагивает и стягивается от одного только прикосновения.

Сосновский не стал повторять унизительного опыта с револьвером; но к обеду он оделся, с обычной своей чуть подчеркнутой вялостью движений; постучался к глухой хозяйке и, к ее удивлению, жестами объяснил, что хочет позвонить по телефону.

— Как ваше здоровье? лучше? — шепотом спросила старушка, подымая на него светлые, в редких ресничках глаза. Мир уже давно был для нее беззвучным, и она, как умела, приспособлялась к тишине.

Он склонился над ее ухом:

— Благодарю вас! — и положил руку на рычаг.

— Жаль, — шепнула хозяйка, — очень жаль.

А Марта, воспользовавшись отсутствием Сосновского, шмыгнула в его комнату, настежь распахнула окно и, опрокинув стулья на раскрытую постель, ножками вверх, принялась исступленно скрести половицы.

2

Слетов пришел, как было условлено, в половине восьмого. Он все так же шаркал ногами, так же под носом у него щеточкой торчали белые усы, — и это было еще самым заметным на его лице; в остальном он тоже мало изменился: говорил как будто еще глуше, то и дело откашливался, морщась с закрытым ртом,

и — единственным новшеством — блестело гладкое кольцо на его пальце.

— Я не совсем понял вас по телефону, — и прежде чем сесть, он как будто в рассеянности схватил со стола папиросу, — у нас, извините, дети ужасно кричат... Но я всегда рад, если чем могу...

— Дело вот в чем, Слетов, — сказал Сосновский, старательно выговаривая, — я хотел вас просить, чтобы вы меня застрелили.

Слетов слабо кивнул, поднял к лицу руку с папиросой...

— Подождите! — и в раздражении ища спокойных и понятных слов, Сосновский стал двигать по столу вазу с астрами, заслонявшими голову Слетова. — Вы конечно считаете меня сумасшедшим, не будем спорить, дело не в словах; ну, предположите, что я очень устал, — нет, не то, я знавал и худшую усталость; но в том дело, представьте себе, что я неизлечимо болен, понимаете? И не хочу больше мучиться. Я вот уже месяц, — нет, больше, — не выхожу из комнаты, ничего не делаю и не желаю, и нарочно не буду... Да, я болен, если хотите. Я действительно болен, — сказал он, как будто не только Слетова, себя хотел убедить. — У меня больше нет воли ни капли, у меня даже — вот на это — рука не подымается, — сказал он, с ненавистью глядя на Слетова, — и задохнулся: давно уже ему не приходилось так много говорить.

— Бог с вами, в самом деле, голубчик, — сказал Слетов с упреком, глухо.

— Слетов, вы, может быть, боитесь последствий, да? — Он встал и подошел вплотную, — но это вам не грозит ничем, никакими неприятностями. Видите, вот, я записку приготовил: «в смерти моей» и так далее. Никто не узнает, все будут думать, что самоубийство. Что вам стоит? Это ведь доброе дело, Слетов. Вы так и

скажите: когда я вошел, он вынул револьвер и выстрелил...

Слетов кротко положил на стол нераскуренную папиросу и тоже встал.

— Да помилуйте, дорогой, подумайте сами...

— Но ведь вы мой старый товарищ, — сказал Сосновский с силой и положил Слетову руки на плечи, — вы знаете, какие нас связывают воспоминания. Вы не можете мне отказать.

Слетов потупился и покраснел. Так стыдятся простые и порядочные люди преувеличенных чувств, слишком звонких слов. «Вам бы к доктору», хотел он сказать, но побоялся обидеть. Еще было на губах: «Леночка, жена моя, просит вас заглянуть вечерком» — но и это он вовремя проглотил.

— Слетов, завтра, послезавтра, — когда? — Сосновский нетерпеливо сжал его локоть. — Послезавтра, да?

— Да, да, хорошо, — испуганно ответил Слетов и, не глядя, зашарил фуражку на столе.

— Послезавтра, наверное? Ну, благодарю вас. Когда? в это же время?

— Вот именно. Обязательно. Как же иначе, — бормотал Слетов, стуча подошвами по крутым ступеням.

3

Прошел еще один день, в тумане, неслышно; только над сердцем стоял упорный холодок; но Сосновский спал много и крепко и когда, просыпаясь, думал о своей жизни, ему представлялась дорожка, ограниченная двумя параллельными линиями по сторонам; на горизонте линии сходились, это было неизбежно, до тупика ему оставалось всего несколько шагов, он был спокоен.

На третий день он встал раньше обыкновенного, внимательно побрился, разглядел в зеркале красные веки и морщины, пробегавшие от углов глаз к вискам; обнажил зубы и даже пальцем провел по влажной, теплой эмали; в зеркале казалось, что он улыбается.

К семи часам он был совершенно готов; осмотрел еще раз револьвер, положил его посреди стола на приготовленную записку; сбегал сам в лавочку за папиросами и картонажную красную коробочку с черным, строгим гербом ласково погладил в кармане: последняя коробка. В передней он наткнулся на Марту, хотел на ходу миролюбиво погладить ее широкую, белую шею; Марта в страхе шарахнулась.

Половина восьмого. В кресле, под мягко розовевшим абажуром, он попробовал было читать; хрустнули заломленные листы журнала. Но от каждой журнальной фразы мысль уводила его далеко, в воспоминания, спутанные, как бред, — и при каждом шорохе возвращала — розовому свету, папиросе, журналу.

Восемь часов. Он только теперь заметил, что все время, не отрываясь, прислушивается к тишине, которую, как острием, должен был прорвать звонок. «Да где же он, наконец? — сказал он, злобно отталкивая стул ногой. Неаккуратность Слетова показалась ему оскорбительной. — «Детишек, небось, качает. Не торопится». Он начал ходить по комнате, вдоль четырех стен в углах были: зеркало, шкаф, пустота и печка. Так учили когда-то в манеже выезжать углы.

Потом он еще долго высовывался в окно, не веря, прислушиваясь к уличному гулу... Наконец, за стеной ударило девять, непоправимо. «Да что же это за издевательство!» — хотел он сказать и даже пальцами собирался хрустнуть, — но в эту секунду вдруг возник в тишине тоненький малокровный звонок. Он шагнул вперед, но сердце его отстало, сердце не сразу опом-

нилось, — и только немного погодя догнало его яростным стуком, отдавшимся в горле. Слышно было, как в соседней квартире на цепочку открыли дверь, кто-то радостно завопил. И тогда Сосновский понял, наконец, что Слетов не придет.

Посреди стола все так же грузно чернел револьвер. Сосновский отвернулся, конфузясь, потащил пикейное одеяло с кровати и, ни о чем не думая, ощущая только сильную головную боль — от лобной кости к затылку, прострелом, - стал раздеваться.

4

Марта, как всегда, локтем открыла дверь. Он спал. Она на цыпочках, раскачиваясь, пошла к столу, и увидев револьвер, вздрогнула, звякнула ложкой.

— Кто там? — Сосновскому показалось, что он крикнул, но из застланного сном горла не вырвалось ни звука. Он приподнялся с расширенными глазами, колотящимся сердцем. Марта попятилась к двери.

Что это было только что, во сне? И, с усилием припоминая, он недоверчиво следил, как в раздвинутые портьеры хлынула солнечная полоса и, прокатившись по полу, уперлась в дверь. Кажется, впервые после многонедельного ненастья выглянуло солнце, день был заразительно весел, ярок.

А что если бы пришел вчера Слетов? Тут одна мысль, по-утреннему ясная, поразила Сосновского, он даже сел на постели: того вчерашнего, который под всеми жизненными счетами провел толстую черту, в сущности уже не было; если бы не случайность, которую никак нельзя было принять в расчет, — обманувший Слетов, — он, Сосновский, лежал бы теперь на этой постели, окостеневший, с застывшим страхом в глазах, насильственно прикрытых веками; а этот, сегодняш-

ний, который, сидя на постели и потягиваясь, ногой нащупывал кожаную туфлю, ничем не был связан с прежним и был безответственен и по-новому свободен. Еще вчера можно было кричать об усталости, истерически требовать утаенной доли счастья; но сегодняшнее пробуждение и все, что могло последовать за ним, было несомненным подарком жизни, чем-то вроде бесплатного добавления; а чего же требовать от подарка?

На подносе рядом с чашкой Сосновский увидел письмо; это показалось ему в порядке вещей, он удовлетворенно кивнул, большим пальцем разрывая конверт. Письмо было от приятеля-шофера, перебравшегося в Париж, и оно отличалось удивительной безграмотностью и оптимизмом; концы строчек ревностно карабкались вверх. Сосновский сунул письмо в карман и подумал, что не вредно было бы с Авдотьиным возобновить сношения — хотя тут же некстати всплыло воспоминание о каких-то пятидесяти марках, занятых в свое время под офицерское честное слово.

Потом он стал разыскивать шляпу и палку.

Утро оказалось солнечным, холодным, синим. Высоко в небе неподвижно стали треугольные змеи, которых пускали дети. Тени были отчетливы, на бульваре пахло как будто грибами и чуть-чуть гарью. Сосновский шел медленно, не спуская взгляда с песка; в коленях была слабость, как после болезни. Ничем не заслуженное хлынуло вдруг на него богатство: в прозрачном воздухе что-то белесоватое струилось и переливалось, плавно опускались яркие листья. Сосновский пересек бульвар, вышел на улицу; с никогда не испытанной радостью он ощущал под ногами упор камня, ладонью коснулся холодной и чуть шероховатой решетки палисадника. И он не слышал, как, приноравливаясь к его шагам, тише покатились рядом с ним по мостовой упругие шины.

— Алло! — тут его окликнули.

Он обернулся, увидел знакомый рот до ушей, озорные синие глаза и кепку на бок.

— Так это правда ты? А я смотрю, смотрю... Что тебя нигде не видно?

— Борис! — Сосновский обрадовался чрезмерно, как брату, как самому близкому на земле.

— Ну, и вид у тебя, однако... Очень неважный вид.

— Да, я ведь болен был, — сказал он, сам удивляясь своей откровенности, — ну, а ты? Как дела?

— Дела, что дела - дрянь! Мы вот с Ириной в Париж хотим махнуть...

— В Париж?

— Ну да. Авдотьин пишет, что там, слава Богу, работы довольно. Он летом на Ривьеру съездил...

— Да, да, и мне он писал.

— Вот бы и тебе тоже в Париж, а?

— Что ж, я подумаю, — он не мог удержать дрожащей улыбки.

— Так слушай, заглядывай! — и уже покатил дальше, высматривая зорко добычу, темно-зеленый автомобиль с шахматным поясочком.

Кто же это и когда придумал, что еще несколько шагов— и тупик, конец дороги? Параллельные линии никогда не сойдутся, а с дороги можно самому свернуть, как угодно, вправо и влево, в неизвестное.

Он шел дальше, присматриваясь к выставкам, заглядываясь на прохожих с простодушным любопытством туриста, попавшего в незнакомый город. Каждая женщина останавливала его внимание; бледные, с легким румянцем на скулах или оттенком летнего, теперь желтого, загара - они вовсе не казались ему прекрасными; напротив, трогательным было именно несовершенство облика, явные попытки добиться гармонии с помощью пудры, губного карандаша или облегчающей шапочки.

Но женщины проходили как бы сквозь него, не замечая; а у некоторых под его взглядом нетерпеливо сдвигались брови. Объяснение нашлось в первой же зеркальной витрине: зеленое, старое, морщинистое лицо было страшнее, чем в домашнем притерпевшемся зеркале. «Болезнь, — сказал Сосновский, кивая своему отражению, — это ничего, это пройдет».

Впрочем, женщины напрасно — со свойственным им близоруким тщеславием — его взгляды принимали всецело на свой счет. Он их выбрал только для того, чтобы хоть на чем-нибудь сосредоточить свое влюбленное внимание; но так же нежно, с такой же бессильной и раздирающей печалью он глядел на неровные плиты под ногами, на обнажавшиеся деревья, на лопнувший по шву перчаточный палец, — на всю ущербность, умилительную и чем-то родственную незавершенность вторично ему подаренного мира.

Весь день он бродил по городу; иногда, чувствуя усталость и головокружение, присаживался на бульварные скамейки, носком ворошил шуршащую, еще сухую листву. Даже усталость была блаженством; и когда он, наконец, повернул к своему дому, он с наслаждением думал об ужине, крепком сне, о простом счастье, которое начнется завтра.

Солнце ушло за дома; еще посвежело; фонарь — первой звездой — нежно вспыхнул на углу. Мимо прошла высокая дама, маленькая девочка, держась за ее руку, чему-то, прелестно захлебываясь, смеялась.

Сосновский незаметно прибавил шагу, — все росла в нем уже мучительная, уже душившая нежность ко всему на свете, даже вон к тому в резиновом пальто, в мешковатых брюках — от них ноги казались кривыми, который шел перед ним: похлопать бы его по резиновому плечу.

Резиновый человек полуобернулся, почувствовал на своей спине взгляд и ощупал карман, оттопыренный банкой в бумаге; это Слетов, устыдясь, что бросил старого приятеля в отчаянии и нужде, шел его навестить (хоть и не очень хотелось), — а компасом была ему банка с вишневым домашним вареньем, засунутая в карман резинового пальто сердобольной Леночкой: «ему, бедному, верно просто кушать нечего, вот он и придумал стреляться».

Слетов! Сосновский сразу узнал мягкий профиль, щеточку усов и, прежде чем понял, что значит появление Слетова в этот час, в двух шагах от его дома, — услышал, как екнуло сердце, ноги сами перенесли его из предосторожности — на другую сторону улицы.

Слетов? Да, это он. Вот шла смерть в резиновом пальто, в мешковатых брюках, покуривая, неторопливая. Подымется наверх, постучит, скажет: «Ну, что ж? Или ты, может быть, передумал?» Но отчего же сегодня? Или он посмеяться хотел: пусть, мол, денек лишний попрыгает? Как раз теперь, когда все изменилось. Ему в самом деле казалось, что все изменилось, что перед ним пролегла гладкая дорога сверкающая — незнакомый парижский асфальт. И что же теперь? Не уйти, не спрятаться за объяснение.

Но, может быть, можно было еще перегнать его, запереть двери, не велеть пускать; Сосновский побежал по улице согнувшись, выбрасывая колени, галопом припустил к своему подъезду, нажал на звонок, — и, когда он был уже на лестнице, внизу еще долго и мучительно содрогался механический запор.

— Марта, — закричал он первый, — Марта!

Опять что-то теснило, мешало дышать — это был Слетов, со своими усами щеточкой, теперь тоже неотвратимо, медленно поднимавшийся, Слетов — посланник потревоженной смерти.

Марта выглянула из ванной, прямая прядь падала ей на глаза, руки в мыльной пене она вытирала о передник.

— Марта! — он хотел сказать: меня нет дома, никого ко мне не пускайте, — но вместо этого выговорилось: — Где же мой револьвер, вы куда девали?

— Не брала я, честное слово, — Марта испуганно подняла плечи, — куда положили, там и лежит.

Серую комнату он застал врасплох, все вещи враждебно насторожились; вспыхнул розовый свет, но стол был пуст: ни револьвера, ни записки. Вот тут он стоял тогда, там — Слетов. Уже тогда показалось странным, что Слетов так быстро согласился. «Обрадовался? Ну, погодите еще, погодите», — бормотал он, обыскивая комнату, заглядывая в шкаф, под постель, нигде не было револьвера. Он бросился к письменному столу; пальто на одном рукаве волочилось за ним. В левом ящике стола лежал, как всегда, револьвер с таким невозмутимым видом, будто не его искали.

В эту же секунду из передней послышался слабый звонок. «Не пускай!» — хотел крикнуть Сосновский, застыл у двери, сжав зубы, с револьвером в руке. Еще с минуту глухой басок и отчаянный шепот спорили о чем-то в передней. Сосновский ждал. «Еще посмотрим», — сказал он твердо темному человеку, которого увидел в зеркале, в углу.

Выстрел раздался, как только вошел Слетов. И сейчас же за стеной взметнулся высокий, страшный женский крик; он заглушил шум падающего тела и стеклянный нежный звон разбитой банки.

«Руль» № 3120, 3121; 1, 3.III.1931 г.

СЧАСТЬЕ

До самых глубин неизвестной квартиры, до кухни, беленькой и блестящей, до темных недр ванной проник телефонный звон. Чужая рука подняла трубку, чужой, медлительный голос, богатый темно-бархатными модуляциями, утомленно сказал:

— Алло, алло, я вас слушаю...

— Можно попросить к телефону фрейлейн Штейнберг? — сказала Ляля.

— Фрейлейн Штейнберг, — задумчиво повторил голос, сгущая меланхолическую окраску, — я бы очень охотно, — и все-таки, нет, я не могу этого сделать!

— Ее нет дома? — удивилась Ляля.

— О, она дома! — воскликнул голос со всей искренностью и силой убеждения. — Я совершенно уверен, что она дома. Но только не здесь. Она у себя дома. А здесь ее нет. И даже никогда не было.

— Ах, — догадалась Ляля, — значит, я... я хотела Олива...

— У нас здесь тоже Олива, — вкрадчиво заметил голос, — такая же самая Олива. Как это звучит, «Олива», правда? Как имя смуглой южанки... Только здесь нет фрейлейн Штейнберг. Здесь квартира директора Шпрингера.

— Да, — ну тогда извините, пожалуйста... — сказала Ляля и встала, коленом опираясь на стул.

— О нет! — воскликнул голос, энергично взмывая вверх на пол-октавы — Одну минуту, не вешайте, по-

жалуйста, трубки! Послушайте, вы хотели говорить с фрейлейн Штейнберг, а вместо нее появился я — телефонный дух, вызванный темным медиумом. Послушайте, у вас очень милый голос, — я по голосу слышу, что вы русская, — ведь правда, я угадал? А как вам мой голос — нравится?

— Спасибо, ничего, — ответила Ляля вежливо.

— Одну минуту еще, одну минуту, не вешайте трубки! Подумайте, я сидел один дома, один во всей квартире, и вдруг меня позвал голос — и это были вы. Из четырех миллионов, или сколько их там, не знаю, вы выбрали именно меня: ведь правда же, это чудо, и это надо отпраздновать, хотя бы встречей, хотя бы разочарованием друг в друге, ведь надо же?

— Ну, я еще не знаю, надо ли, — возразила Ляля, скашивая глаза в трубку и пальцем водя по телефонной эмали.

— Непременно надо и как можно скорей, — сказал голос твердо, — когда? Сегодня?

— Бог с вами! — испуганно ответила Ляля и, зажав ладонью рот телефонной трубки, поспешно оглянулась, хоть и знала, что дома никого нет. — Сегодня я не могу, честное слово, — и уже поздно... разве завтра?

— Завтра, — повторил голос, слегка вибрируя на первой гласной, — я знал, что вы добрая... Завтра, в девять, — но где?

— Мне совершенно все равно, — сказала Ляля, быстро соображая, что лучше всего назначить встречу у самого дома, чтобы и ходить было недалеко и удрать близко, — на всякий случай, — вот, может быть, на Дрезденской площади? Там есть кафе Шмидт, — так у входа в кафе?

— Добрая, добрая, — сказал голос проникновенно, — кафе Шмидт, завтра... А как я вас узнаю?

— У меня кротовая шуба, — небрежно сказала

Ляля, — и серая шапочка, — но, правда, вы будете страшно разочарованы.

— Нет, — возразил голос строго, — я вас уж знаю... И потом... Подождите, я еще хотел вам... Или? Ну да, это завтра.

Отвернувшись от телефона, Ляля наткнулась на отражение в зеркале, неприлично возбужденное, с пылающими щеками, и сказала ему сердито: «распорхалась тоже, — мотылечек!»

Но голос, чужой голос из глухого телефонного гула, шальное счастье, скользнувшее по проволоке, счастье вне очереди, билетик, вытянутый наугад... Нет, дело было, конечно, вовсе не в лишнем знакомстве. Все-таки, что же завтра надеть, — зеленое шерстяное или — на всякий случай — вечернее?

И вот, прекрасный дождливый вечер, розовая зыбь на асфальте, фонарные тени, качаясь, крыльями задевают тротуар, Ляля стоит, руки в рукава и зубами неслышно постукивая песенку, — а к перекрестку в породистом длинном и узком автомобиле подкатывает счастье. Счастье распахивает дверцу, счастье сияет молодостью, зубами, сегментом цилиндра и белым кашнэ, на нем разлетайка, какие видишь только в кино, оно похоже на всех, кто когда-либо нравился Ляле — и ни на кого по-настоящему не похоже. Улыбаясь и замирая, Ляля храбро лезет в автомобиль, левой рукой подхватывая подол, и налету успевает подумать: «Хорошо, что догадалась все-таки надеть вечернее».

Что же, все это могло быть именно так.

...На самом же деле был просто берлинский вечер, насквозь мокрый и подернутый туманом. Ляля ждала уже минуту, две и три, перестала аккомпанировать песенке зубами и начала отстукивать свое нетерпение носком, — когда из-за угла, из-за тумана вынырнула

фигура в длинном резиновом пальто, в широкополой шляпе, из-под которой висели длинные мокрые пряди, и, налетая на Лялю, уже издали простерла руку:

— Это вы — милый голос?

— А вы телефонный дух? — спросила Ляля, соблюдая маскарадный стиль.

У телефонного духа было большое, бледное и плоское лицо, сумбурные глаза и рот широкий, женственно-мягкий и, кажется, накрашенный.

— А где же, — спросил он быстро, — а где же белые гвоздики, ведь мы, кажется, условились?.. И тут лицо его как молния перекосила гримаса, он выкрикнул что-то вроде «эк!.. эк..», дернул рукой и плечом и вскинул подбородок.

— Нет, — сказала Ляля, поглядывая сбоку, с опаской, — мы ничего не говорили о гвоздиках... А я знаю, где вы живете, господин Шпрингер: я нашла ваш адрес в телефонной книжке.

— Ах, Шпрингер, — сказал телефонный дух равнодушно, — нет, я только снимаю комнату у старика Шпрингера, — а моя фамилия...

И опять: молневидная гримаса, вскрик, выпад плеча и взмах подбородка.

— Послушайте, — попросила Ляля, начиная нервничать, — перестаньте, пожалуйста, зачем вы это делаете?

— О, я не нарочно, — сказал телефонный дух просто, — это у меня было вроде контузии, и каждый раз, когда я волнуюсь...

Тут он, очевидно, взволновался: опять — молния, вскрик и выпад.

— Мне нужно в десять часов быть дома, — сообщила Ляля упавшим голосом, — ровно в десять, — я совершенно забыла, у меня спешная работа.

— У нас еще много времени, — бодро сказал

телефонный дух, — мы пойдем гулять, все прямо, в туман, божественный туман, и дождь, и блеск...

«Сумасшедший», — подумала Ляля злорадно. Но куда же девались томные модуляции, обольстительные и нежные переходы? Голос был негромкий, с хрипотцой, и ужасно торопливый: он перекрикивал сам себя, и концы фраз переходили в бормотание, отдельные слова покрывались туманом, тем самым, что наплывал, густой и мягкий, на деревья парка.

...Тут сыро, но не бойтесь, не бойтесь, я подстелю... Вот так, садитесь, и ближе, ближе же, я же Вам ничего... Странно, моя мать тоже боится сырости, и когда вот такой туман... Послушайте, а где же гвоздики? Ах да, вы мне уже... Очень красивая женщина, знаете, до сих пор еще, хотя мне уже двадцать восемь, волосы совсем черные и такие маленькие усики, и масса поклонников...

— Кто это? — спросила Ляля с испугом.

— Моя мать. Я разве еще не?.. Отчего вы дрожите?

И опять — молния, вскрик, толчок. У Ляли и сердце прыгало, и нервный смех ее разбирал.

— Действительно холодно, — сказал жалобно телефонный дух и ловко поймал в темноте влажной и вялой рукой Лялину руку, — очень сыро, очень темно. У вас нет папиросы? Послушайте, я знаю, что мы сделаем: мы сейчас пойдем ко мне, я заварю чаю, будет тепло, я почитаю вам: у меня есть стихи.

— С большим удовольствием, — любезно сказала Ляля, — но в другой раз как-нибудь. Сегодня мне некогда. Мне надо ровно в половине десятого быть дома.

— В другой раз, — повторил телефонный дух доверчиво, — я знал, что вы добрая, уже по телефону, хотя по телефону вы были еще добрее. Скажите, вы тоже боитесь одиночества?

— Не знаю, — сказала Ляля, — а вы? — Она все отъезжала от него по скамейке, потихоньку, незаметно, он же подвигался за ней, и теперь за своей спиной Ляля ощущала уже край скамьи, а за ней — провал, черную пропасть.

— У меня раньше была подруга, — ответил телефонный дух, вытягивая шею к Ляле, и разреженный свет фонаря осветил его длинный глаз, дряблую кожу под глазом и плоскую, покрытую пушком, скулу, — но потом она уехала. Я думаю, это мать ее подговорила... Она меня преследовала всегда и, знаете, раз в детстве... Потом она на меня донесла в полицию, и меня выселили, я ей мешал, и мне теперь нельзя домой, я живу один, снимаю комнату. Одно время я был в Иностранном легионе, оттуда я убежал, я еще расскажу вам, это было ужасно, у меня есть об этом стихи...

Тут страшная гримаса исковеркала его лицо, он вскрикнул «эк!..», дергая головой и шеей, а Ляля мгновенно вырвала свою руку и вскочила, туфлей угодив в черное и отвратительно холодное.

— Нет, нет, правда, — заговорила она, мелко стуча зубами, мелко тряся головой, — я очень тороплюсь, пожалуйста, не провожайте, мне два шага. Да, завтра вечером, непременно, я вам еще позвоню.

Туман, туман, блестит проволока, бледный луч кружит по небу, упираясь в облака, а Ляля бежит, придерживая кротовую шубу на груди. Неужели непременно нужно, выбегая навстречу своему счастью, споткнуться о чужое несчастье? Но Ляля думает о другом: «Слава Богу, слава Богу, он не знает ни адреса, ни телефона!»

Мимо зеркала в передней, перед которым совсем еще недавно она примеряла четыре сорта улыбок — лукавую, застенчивую, девственную и инфернальную, — через столовую она вбежала в свою комнату, как была, в шубке и шляпе, — а в комнате ждал Петер, жених,

или что-то в этом роде, пухлогубый, рыжеволосый, рыжеглазый, легко воспламеняющийся от обиды человек.

Увидев Лялю, он вспыхнул и сделал движение встать, но вдруг крепко зажмурился, отвернулся, надувая щеки, — и звонкое чихание огласило комнату.

— Хапчи, — сказал Петер сам себе смущенным шепотом и полез за платком.

— Будь здоров, — прибавила Ляла и села на диван с ногами, ужасно усталая: она точно впервые со вчерашнего вечера вспомнила, что незачем ей гоняться за шальным телефонным счастьем: у нее уже было свое собственное, ручное, на веревочке, знакомое наизусть и наощупь, как старая диванная обивка.

«Наш Век» № 15, 21.III.1932 г.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

...Почему-то Андрееву всегда представлялось, что будет голубой снег, фонари в радужном ореоле, да еще какие-то пышные лапчатые елки, вроде тех, что на катке полукругом украшали эстраду, гремевшую радостной музыкой.

На самом же деле был ледяной дождь, ветер и туман, и на углу бывшей Николаевской и Невского кто-то, в полутьме налетев на него и грубо толкнув, непечатно выругался вслед; тогда Андреев зашагал быстрее, подняв плечи, почти не глядя по сторонам — и при вспышках взволнованной памяти угадывая нужные повороты и улицы. Но, Боже мой, как все изменилось! Как постарели, окривели дома, лишенные вывесок! Вон там, где окно заколочено досками, был раньше золотых дел мастер Давыдов, а напротив булочная, где Андреев покупал, бывало, калачи, возвращаясь в сумерках из гимназии. А еще дальше, за вторым углом...

Времени у него оставалось немного: к девяти часам надо было вернуться на пароход.

Это был третий и последний вечер в Ленинграде. Английских матросов отпускали с парохода на три часа, — но им не разрешалось, как в других портах, вольно бродить по городу. Плотно окруженные русскими товарищами, они шли — их вели, вернее, — в дискуссионный клуб, где их угощали бледным чаем и где какой-то в очках, с высоким лысым лбом, на ломаном английском языке говорил о Марксе, Сталине и борьбе классов; они же слушали вежливо и недоуменно и все косились в тот угол, где ядреные девицы в красных

платочках шушукались и пересмеивались. Потом, под той же четкой охраной, англичан провожали на пароход. И если бы не удалась Андрееву сегодняшняя хитрость, — все оказалось бы напрасным.

Мгновенное счастливое вдохновение: "Wait a minute, boys!" Английские матросы и русские товарищи остановились, постояли рядом с ним, серьезно и рассеянно следя за тем, как он, согнувши колено, напряженно сморщившись, возится над шнурком своего ботинка; потом, наскучив ожиданием, они медленно, не оглядываясь двинулись вперед: догонит! А он, задыхаясь, рывком бросился в сторону, в ворота — те самые, в которых лет двадцать тому было свидание с Катей, кажется, для выяснения отношений: так и есть, проходные, память не обманула, — и как будто все так же, заждавшись его, мокнет низкая стопка дров в глубине двора.

...Он свернул в переулок и остановился: вот этот дом. Когда-то, перед самой войной, он был выкрашен в канареечный цвет, — но теперь он полинял и померк, краска отставала пластами. Андреев толкнул дверь подъезда, как в детстве, — с усилием, плечом и коленом, — но она поддалась с неожиданной легкостью, и медленно, прислушиваясь к своему сердцу, он стал подниматься.

Все это было необыкновенно похоже на многолетний, многократный его сон: сотни раз он подымался так, замирая от волнения, на третий этаж, звонил у двери налево. Кто отворит — мать или Верочка? Во сне бывало так, что никто не отворял: он сразу оказывался в гостиной, где у шелкового абажура мать штопала чулки на грибе, щуря близорукие глаза, а Верочка сидела над книгой, — готовилась, видно, к экзаменам. И был еще кто-то третий, невидимый, кто мешал матери и Верочке заметить присутствие Андреева. Они сидели, не поднимая глаз, каждая была занята своим

делом, Верочка, читая, по привычке мелко покусывала губы, и в ее косе, восьмеркой уложенной на затылке, мирно играл розовый луч. И тогда Андрееву вдруг становилось ясно, что так оно и должно быть! совсем не нужно восклицаний, объятий и слез; все так просто, он никогда не расставался с ними, ему семнадцать лет, завтра письменная по истории... Ничего не было. Какое счастье, Боже мой!

Он позвонил. Вопросительный, тонкий звук колокольчика — того же самого — разбудил в нем вдруг такую живую память о доме и молодости, о тысяче милых забытых вещей, что он тотчас же, жадно, с наслаждением вслушиваясь, позвонил еще. Но ничто не шевельнулось за дверью.

Выждав минуту, он еще и еще раз дернул кольцо, прикрепленное к проволоке; колокольчик с каждым разом отзывался слабей и нерешительней.

Никто не отворял.

Через два часа ему надо было возвращаться на пароход. Он вопросительно обернулся на другую дверь — на ней была золоченая дощечка: «Д-р А. Миронов», а на той, что слева, он только теперь это заметил, не было даже визитной карточки. Тронув еще раз кольцо, он негромко позвал вопросительно: «Вера? Мама!» Уже целых пять лет не было от них больше писем.

Никто не отозвался, — и тогда, не успев додумать, с мысленного разбега, он позвонил у другой двери.

Послышалось приближающееся шарканье, потом звон тугой цепи — и дверь приоткрылась; в щели показалась растрепанная седая голова в дырявом платке.

— Виноват, — сказал Андреев, сдвинув каблуки и учтиво склоняя голову, — здесь раньше жили Андреевы, вы не знаете, где они теперь?..

Голубые запавшие глаза медленно осмотрели его с нараставшим изумлением и испугом. И сейчас же из

сумерек чужой прихожей появились две больших мужских руки; они взяли старушку сзади за плечи и отодвинули ее в сторону, как мебель.

— Здесь о таких ничего неизвестно, — сказал густой голос, и дверь грубо захлопнулась.

Андреев постоял еще немного, подумал. Потом он перевел взгляд на себя, увидел свое синее новое трико, крепко обтягивавшее грудь, ботинки из солидной шершавой кожи, представил себе свое лицо, — за много лет приобретшее иностранный очерк, сухое, отлично выбритое, с нерусской твердостью во взгляде, в складках губ... И он стал медленно спускаться.

Очень трудно ему было расстаться с подъездом, выйти на улицу. Мимо, в сгустившемся тумане, взад и вперед шныряли серые тени. «Только смотрите, не говорите там ни слова по-русски, попадетесь», — предупреждали его лондонские друзья. Но он все ж остановил одну из теней, сказал вполголоса, умоляюще: «извините»... Тень шарахнулась и сгинула. Такого страшного сна Андрееву еще никогда не случалось видеть. «Все равно, — сказал он себе, — надо узнать... Не могу же я их *здесь* так бросить».

Становилось совсем темно, в тумане слабо заблистал фонарь; на перекрестке мальчишки отрывисто выкрикивали что-то — не то папиросы, не то газеты. Запахло морской свежестью, петербургской ночью — и в этих запахах и звуках послышалось вдруг Андрееву что-то странно родное. Он скинул берет, подставляя лоб ледяным каплям, и пошел — но не обратно к Невскому, где было яркое освещение, где ждали таксомоторы и откуда легко было добраться до порта, до безопасной, удобной иностранной жизни, — а все дальше, темными, прямыми улицами, уводившими вглубь, в самое сердце заманившей его, чужой и страшной родины.

СОВЕТЧИЦА

Длинноволосый молодой человек с толстой тетрадью под мышкой прошел мимо скамьи Люксембургского сада, на которой сидела пожилая дама, остановился, повернулся и вежливо спросил:

— Вы разрешите мне присесть, сударыня?

Дама с недоумением поглядела на него бледно-голубыми выцветшими глазами. Жестом он указал на скамью. Дама ответила вполголоса:

— О чем же спрашивать? Это общественный сад. Конечно, садитесь.

Он сел, раскрыл свою тетрадь — кипу листов, скрепленных металлической спиралью, — полистал их туда и обратно и с нетерпеливым вздохом бросил на скамью. Дама молча наблюдала за ним.

— Вы, может быть, удивитесь, сударыня, почему я гуляю и ничего не делаю? — повернулся он к ней. — И вы будете совершенно правы. Через месяц у меня экзамен, давно пора начать заниматься. Но что же мне делать, если я не в состоянии работать? Сударыня, я вижу по всему, что вы умный и опытный человек. Прошу вас, посмотрите на эту фотографию и скажите мне совершенно откровенно: может ли по-вашему такое лицо обманывать?

И он тут же вытащил из бокового кармана карточку и сунул ее в руки дамы. Та нерешительно приблизила ее к прищуренным глазам. На фотографии белокурая

девочка, закинув назад голову, смеялась всеми своими молодыми веселыми зубками.

— Она очаровательна, — глухо сказала дама, — у нее прелестное лицо, — и прибавила, возвращая фотографию, — Смотрите, не потеряйте ее.

Неизвестно было, относились ли эти слова к карточке или к оригиналу, изображенному на ней.

— О, как вы проницательны, — в восторге воскликнул студент. — Вы сразу угадали, в чем дело, попали в самую точку. Да, вот именно — я боюсь ее потерять. Потому-то я так и расстроен, потому я не в состоянии ничем путным заняться. Можно вам все рассказать? Ее зовут Наташа (правда, красивое имя? Ее мать — русская), мы познакомились прошлой весной в Сорбонне, на лекциях — и очень подружились. Мы даже оказались вместе на баррикадах — правда, не очень долго, — скромно прибавил он: — я, понимаете, боялся за Наташу и каждый раз уводил ее домой, прежде чем начинался обстрел слезоточивыми бомбами... Но зато потом мы участвовали в разных кружках, вместе опровергали потребительское общество, по ночам клеили афиши — словом, еще больше подружились, и даже стали подумывать о женитьбе. Конечно, мы оба только на первом курсе, и денег нет ни у нас, ни у наших родителей, но не все ли равно? Жизнь коротка, нельзя откладывать счастье на завтра, не правда ли? Как вы к этому относитесь?

Дама пожала плечами и на ее лице отразилось мимолетное смущение.

— Ну да, я сразу угадал, что вы молоды душой и понимаете все, — воскликнул студент. — Не то что ее родители... впрочем, кто уж в наше время считается с родителями? Беда не в этом; беда в том, что у нее вдруг объявился какой-то провинциальный кузен... или друг детства, черт его знает. Этот наглец позволил себе при-

ехать в Париж под каким-то сомнительным предлогом и стал приглашать ее в ресторан, возить за город... И вот на прошлой неделе, когда я предложил ей пойти вместе в кино, знаете, что она мне ответила? «Я уже обещала этот вечер Жаку». Невероятно, правда?

Дама покачала седой головой.

— Ну, тут мы в первый раз здорово поссорились — и с того дня я ее больше не видал. Но вчера я не выдержал и послал ей длинное письмо, такого, приблизительно, содержания: «Ты должна выбрать между мной и Жаком. Если ты меня еще любишь, приходи завтра в 12 к фонтану Медичи...» Слышите, в двенадцать. А сейчас уже 12^{25}... Почти половина первого... Наташа не пришла... Она больше не придет.

И он в сердцах швырнул свою тетрадь на дорожку, вспугнув легкую стайку воробьев, и погрузил обе пятерни в свои длинные, растрепанные волосы.

— Не надо отчаиваться, — тихо сказала дама после небольшого молчания. — Вы еще так молоды; поверьте мне, в ваши годы всякое горе излечимо. Вот позже, когда вы уже отучитесь надеяться...

Он не ответил и продолжал мрачно глядеть на землю, покрытую слоем полуистлевших листьев.

Дама подняла голову и в конце аллеи увидела высокую фигурку в кожаной куртке, в узких панталонах; легкие светлые волосы, перевязанные лентой, стояли ореолом вокруг головы.

— Послушайте, — сказала она, дотрагиваясь пальцем до плеча студента, — быть может, я ошибаюсь, но мне кажется — за вами пришли.

Он взглянул в свою очередь и вскочил, готовый ринуться вперед, — но, задержавшись на мгновенье, схватил обе руки пожилой дамы и крепко сжал их.

— Позвольте мне поблагодарить вас, — сказал он с жаром, — вы не можете себе представить, как наш

разговор помог мне. Вы были совершенно правы во всем. Я никогда, никогда не забуду ваших советов.

И он помчался вперед, забыв на дорожке свою исписанную тетрадь.

Пожилая дама с легкой улыбкой проводила его взглядом.

Она была совершенно глуха.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР *

Петербург, я еще не хочу умирать,
У меня телефонов твоих номера,
Петербург, у меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.

О. Мандельштам

1

В Париже бывалые люди предупреждали Ольгу, что т а м до прежних друзей — если и предположить, что они еще живы — ей не добраться: телефонной книги вы там не увидите, это государственная тайна, и звонить вообще не безопасно, не только для них, но и для вас: не забывайте, что за вами будут следить, вы бывшая эмигрантка; и вообще, ведите себя осторожно и никуда зря не суйтесь.

Она послушалась советов, никуда зря не совалась, даже запретила себе об этом думать.

Но случилось так, что в последний день в Москве, между тягучим отельным обедом и заключительной экскурсией, оказался провал: свободные полчаса, — и сообразив вдруг, что это волшебное путешествие подходит к концу, что завтра, как это ни неправдоподобно, она снова окажется в Париже, мгновенно приняв решение, она поднялась на второй этаж отеля, где, кроме

* Этот рассказ написан Е. Каннак после ее поездки в 1962 году в Россию, где она пыталась разыскать кого-либо из своих родных и прежних знакомых... (*Прим. ред.*)

бюро Интуриста, помещалось почтовое отделение; там за решеткой сидела мелко-мелко завитая блондинка и, облокотившись, подперев пухлую щеку кулачком, быстро заполняла бланк.

— Я бы хотела позвонить по телефону... — сказала Ольга.

— Поискать вам номерок? — с готовностью предложила толстушка.

— Нет, спасибо, я лучше сама... У вас есть телефонная книга?

— А что ж? Вот!

Из рук в руки, так просто, как это бывает только во сне, перешла к ней заветная книга, не слишком объемистая для города с восьмимиллионным населением, и Ольга бережно понесла ее на соседний столик, где стоял телефон, и принялась листать тонкие страницы, немедленно — чудо, к которому нельзя привыкнуть за две недели — заговорившие с ней на родном языке. Очевидно, подумала она мимоходом, это не государственная тайна, а просто дефицитный товар.

Любимая гимназическая подруга; две кузины; учитель русского, когда-то двадцатипятилетний Сергей Васильевич, с темной бородкой и смеющимися узкими глазами, в которого все, как водится, были влюблены; старая няня... А кто еще? Подожди, будем держаться алфавитного порядка.

Она листала книгу, переходя с буквы на букву, пробегая быстрым взглядом колонки имен, но ни одна страница не отозвалась на зов. Сергея Васильевича звали Крестовоздвиженский: такой фамилии в книге не оказалось; зато Лазаревых была целая страница, но все неподходящие, да и что за нелепость — искать Верочку Лазареву в Кривоколенном переулке, как будто она так и просидела там неподвижно всю жизнь в ожидании моего звонка? Кузины, кажется, не раз ме-

няли мужей и фамилии, — а может быть они уехали? Погибли в ссылке? Просто дошли до конца жизненного срока? У няни, конечно, не могло быть телефона; да и ей было бы теперь больше ста лет. Неужели больше некого искать?

Оставалось еще одно имя, о котором она мельком подумала перед самым отъездом из Парижа, имя, с которым было связано воспоминание о холодной осенней ночи, о первом волнении, первом разочаровании.

2

В Москве они встречались редко, хотя между ними было дальнее родство, хотя их родители обменивались посещениями, — но что за радость была семнадцатилетнему гимназисту, участнику кружков, автору умных рефератов, ходить в гости к ничем не замечательной девочке? Разница лет между ними была огромная: семнадцать и тринадцать — два поколения. Олег Шиманский казался Оле взрослым. Небольшого роста, курчавый, темноглазый, он был подвижен и говорлив; слова у него не поспевали за мыслью, он спешил, захлебывался и игрой тонких длинных пальцев дополнял незаконченную фразу. В его семье гордились талантами сына — и верно, он был разнообразно одарен, как это бывает, когда природа поскупится на главный незаменимый дар: он умел рисовать карикатуры, писал стихи под Маяковского и особенно славился своей музыкальностью. Олю, столько лет безнадежно отбивавшую нудные гаммы, восхищала легкость, с которой Олег, подобрав по слуху мелодию, принимался немедленно ее жарить, не глядя на клавиши, полуобернувшись к слушателям и подпевая хрипловатым голоском.

В то последнее русское лето, когда выяснилось, что обычная поездка в Евпаторию теперь невозможна

(«Ничего, — весело сказал отец, — поедем в будущем году, только бы не разнесли нашу дачу белые и красные»), решено было остаться пока под Москвой, например, в Краскове, где Шиманские сняли уже для себя несколько комнат в пансионе. «Почему бы нам не провести лето с Шиманскими? Они очень милые, и у них есть дети, для Оли будет компания», — сказала мать. Оля погрустила о Евпатории, о белом доме с широкой террасой, с утра празднично-озаренной, выходившей прямо на пляж, на мелкий золотой песок... Но что же делать, поедем в будущем году, а пока впереди были два длинных дачных месяца в подмосковной деревне, окруженной темным бором, где так пахнет грибами и скользкой листвой...

Пансион оказался просторной двухэтажной дачей с закрытым, пестро застекленным балконом; там, даже в плохую погоду, сквозь голубые и желтые стекла мир казался веселым, сияющим молодостью. А погода выдалась в то лето плохая: каждый день шел дождь, шумный, сплошной московский дождь, превращавший садовые дорожки в вязкое болото. После обеда пансионеры собирались на балконе, от скуки яростно спорили о политике, кричали до хрипа, не слушая друг друга. Их было немного — кроме Шиманских три-четыре семьи; кучка встревоженных *буржуев*, тайно помышлявших о бегстве, как и Олины родители: недалеко и ненадолго, на время, пока не свалится эта шайка. Вечерами горничная вносила в столовую зажженную керосиновую лампу, и после длинного, но несытного ужина Олег садился за пианино и принимался нажаривать частушки, подпевая хриплым голоском, посмеиваясь, блестя зубами, а его сестра Лиза, большеголовая бледная девочка, нудно капризничала, не желала есть пшенной каши, отказывалась идти спать... Когда же поздно вечером возвращался из Москвы ее отец, она

жалобно говорила: «Папочка, я такая голодная! Хоть бы кусочек хлеба, хоть бы что-нибудь!» — и тогда по всей даче неслись крики: «Почему же ребенку не дают есть? Я, кажется, достаточно работаю, достаточно мучаюсь, чтобы вырвать что-нибудь у этих...» Толстая мадам Шиманская, оскорбленно пожимая могучими плечами, поднималась наверх с подсвечником в руке и перед сном заглядывала со свечой под постели: боялась воров. За нею, довольная результатами своей политики, с кротким видом поднималась и Лиза.

Олег Шиманский, на даче, как и в Москве, Оли почти не замечал, говорил с ней редко и всегда небрежно-ласковым тоном, как с сестрой Лизой. Его забавляло, что их зовут так похоже — Ольга Леонидовна, Олег Леонидович — и, встречая ее утром на балконе, за чаем, он бросал ей: «Ну-с, тезка в квадрате? Мы выспались?» — и либо шел в свою комнату («Он работает», — благоговейно говорила его мать), либо, если случайно прояснялось небо, убегал в лес и возвращался к обеду мокрый, забрызганный грязью и от сырости курчавый, как пудель. Скучавшая Лиза жалобно приставала к нему: «Ну, пожалуйста, ну, сыграем хоть одну партию в крокет», — но он кратко отвечал: «Где сыграть? В луже?» — и опять исчезал в своей комнате. А Оля слонялась по мокрому саду, густо заросшему бузиной и сиренью, или в столовой, присев на сырой подоконник, с жадностью читала трилогию Мережковского «Христос и Антихрист» — и тщетно ждала писем от разлетевшихся кто куда подруг.

Незадолго до возвращения в город погода вдруг переменилась: пришли прозрачные ясные дни, в саду роняли лепестки последние астры, лужайка по утрам, как сединой, затягивалась блестящей изморозью. Ночи стояли лунные, ледяные, беспокойно-светлые. Оля, уже раздетая, в оренбургском платке поверх ночной

рубашки, садилась у окна и смотрела на четкие, черные стволы, на серебряную дорожку, убегавшую из сада в поле. И раз вечером — было уже одиннадцать часов, пансион спал — перед ее окном выросла и застыла черная тень.

— А ты чего не спишь, тезка? — услышала она хриплый шепоток.

— Не знаю, ночь такая лунная, — растерянно ответила Оля словами избитого романса. «Хочешь погулять со мной? Лезь в окно». Оля испугалась: «А вдруг услышат? Мои родители спят наверху, как раз надо мной». «А ты потихоньку! Давай, я тебе помогу. Только оденься потеплее». Взволнованная, растерянная, она послушно напялила драповое пальтишко поверх оренбургского платка, натянула высокие ботинки на голые ноги и, стараясь не шуметь, распахнула окно и влезла на подоконник. «Вот, — сказал Олег и, крепко схватив ее за талию, приподнял и опустил на гравий под окном. — Видишь, совсем невысоко. Если б ты не была таким клопом...» И они пошли молча по лунной дорожке, Олег вел ее, держа твердой мальчишеской рукой за шею: так он привык гулять с Лизой.

— Правда, здорово? — спросил он через минуту, когда они отошли от дома. — Смотри, какая луница, как все тихо, как будто ждет чего-то, правда? — Ей было так холодно, так стучали зубы, что она не решилась ответить. — К сожалению, о лунных ночах все уже написано, — сказал он немного погодя. — Луна, как серебряный щит, и еще — осколок блестит на плотине, и черная тень... помнишь? — Откуда ей было помнить, чего она не знала? Она опять промолчала. — А я, — сказал еще Олег, — хотел бы найти совсем новые слова, понимаешь? Свои слова, еще никем не сказанные. — Ты найдешь, — сказала она убежденно. Луна уже заходила; ярче всего, серебристо-голубым светом,

блестели верхушки деревьев. Они уже два раза обошли сад, — большой, печальный, он был непохож на дневной, — когда Олег вдруг остановился под Олиным окном: «Ну, хватит с тебя, тезка, тебе пора спать. Полезай обратно». Он наклонился, подержал на весу Олину черную косу, сказал рассеянно: «Какая ты... косатая... Ну, лезь, а я еще поброжу», — и вдруг, взяв Олю за локти, быстро и плотно поцеловал ее в губы. Она обомлела. «Держись крепче за карниз, — скомандовал он, поворачивая ее к себе спиной. — Завтра пойдем еще гулять, хочешь?»

И вот, это было все. В ту ночь Оля, конечно, долго ворочалась в постели, не могла заснуть: во-первых, подол ее рубашки промок от росы и ноги до колен были ледяные, во-вторых, ее удивляло, что она, по-видимому, влюблена в Олега и до сих пор об этом не догадывалась, и наконец, ей смутно казалось, что она еще слишком маленькая, чтобы целоваться по ночам.

К утреннему завтраку она вышла поздно, простуженная и смущенная, не поднимала ресниц над стаканом чая, не решалась ни с кем заговорить. Но Олега за столом не было; он с утра ушел в лес, а вернувшись, исчез в своей комнате. Вечером, тепло закутанная, она долго ждала у окна. Он не пришел. Все это было очень странно. Встретив его на следующий день в саду, у старой согнутой рябины, она не выдержала и робко спросила: «Олег, ты на меня не сердишься?»

— Что ты, Бог с тобой, тезка милая, — сказал он хриплым торопливым голосом, — за что же мне сердиться? Нет, но понимаешь, какая вышла история: оказывается, Лиза видела, как я тебя подсаживал в окно.

— Лиза?

— Ну да, она мне сама сказала. И это бы ничего — ведь она у нас еще дуреха, ничего не понимает,

но если бы она рассказала маме, а та твоей, вышла бы страшная семейная склока, понимаешь? Так что я уговорил Лизку, что это ей приснилось.

— И она поверила?

— Очень просто. Она у нас сомнамбулка, иногда встает по ночам и гуляет, а потом рассказывает такие истории — откуда берется! Удивительная девчонка, — сказал он с гордостью. — Конечно, она мне поверила. Она мне всегда верит.

Оля молчала. Нельзя же ему объяснить, в самом деле, что по-видимому она в него влюблена.

— В Москве я тебе обязательно позвоню и мы еще погуляем; в Москве это будет гораздо проще, — продолжал он, слегка отвернувшись, трепля ветку рябины, — и сыпались, сыпались с пунцовых твердых ягод мелкие капли на Олины косы и плечи. — А здесь, сама понимаешь, не стоит рисковать. Верно?

Оля согласилась:

— Не стоит рисковать.

На другой день отца Шиманского спешно вызвали в Москву по какому-то неприятному делу; вместе с ним уехала и его семья. Скоро и весь пансион опустел. В Москве Оля несколько дней ждала его звонка, под разными предлогами вертелась в передней у телефона, не решалась даже выходить, — а потом перестала ждать: у нее появились другие заботы, поважнее. Начались сборы в дорогу, сначала робкие, осторожные, потом ускоренные и откровенные; уезжали пока что в Польшу, к родственникам; в квартире оставалась, чтобы следить за вещами и порядком, горничная Маша. А Оля рыдала, прощаясь с Москвой и с гимназией, топила в слезах телефонную трубку (как говорил отец), часами разговаривая с любимой подругой, Верочкой Лазаревой: обе поклялись писать друг другу ежедневно и немедленно известить, как только та или другая обручится.

Потом был отъезд — в первом классе, в санитарном вагоне, в теплушке, все дальше, все дальше на Запад, на четыре месяца, на четыре года, на сорок лет. За эти десятилетия история не раз врезалась клином в обыкновенную жизнь, вырывала из нее куски. Начало биографии растворилось в тумане, из него изредка выплывали имена: среди них было и имя Олега Шиманского.

За железным занавесом замолкали безголосые, но у Олега свой голос был — хоть и не удалось ему сказать нового слова. Его имя встречалось Ольге то в книжке «Нового мира», то в газете. Известный литературовед, профессор, он вышел сухим из водопада чисток, избежал ссылки, пролетел, не поскользнувшись, сквозь черный туннель военных лет. В кратком списке московских теней он стоял у Ольги на последнем месте. Но если он еще жив и если, совместными усилиями, нам удастся хоть на минуту воскресить наше детство... Она принялась вновь листать телефонную книгу.

И тут все пошло с волшебной легкостью и простотой. На тонкой странице оказался только один Шиманский: О. Л., проф. Дрожащим пальцем она повертела диск — Д и пять цифр — и почти немедленно в телефоне возник звучный женский голос.

От волнения Ольга чуть не заговорила по-французски.

— Да, он дома, — бодро ответили ей, — минутку!

Но и минутки не прошло: она вдруг услышала быстрый хриплый говорок и мгновенно его узнала, увидела перед собой невысокого курчавого мальчика, с такой пленительной легкостью, так небрежно жарившего песенки на пианино, полуобернувшись к слушателям и подпевая.

— Вы наверно меня совсем забыли, — начала она запинаясь, — меня звали когда-то Оля Ковальская. Мы

были дружны, очень давно... во время революции... помните, в Краскове?

В телефоне наступило длительное молчание.

— Нет, не помню, — сказал, наконец, хриплый голос, — то есть, это было так давно... мы были тогда детьми...

— Да, конечно... но я была бы очень рада... я теперь провела в Москве несколько дней...

— Правда, мне очень жаль, — холодно и твердо сказал голос, — но у меня сегодня экзамены. Абсолютно нет времени. Может быть на будущей неделе... хотя мне вероятно придется уехать...

Правильней всего было бы тут же положить трубку, но у нее не хватало на это мужества, она еще цеплялась за это русское детство, ускользавшее от нее.

— Сегодня мой последний день в Москве, — сказала она, и ей захотелось прибавить: а ведь вы тогда не позвонили мне, как обещали, — но вместо этого она спросила: — А ваша сестра Лиза? Где она?

— Лиза тоже живет в Москве.

— А как ее фамилия? Мне говорили, но я забыла.

— Фамилия... не помню, — медленно сказал хриплый голос, — но могу вам дать ее телефон. Погодите... Борис 62-233, нет, не Борис, а...

«Борис» означало «Б».

— Ну, все равно, — малодушно сказала она. — Не стоит, я уже не успею. Значит, прощайте...

— Прощайте. Подождите минутку! Вас зовут Ольга Леонидовна, верно? И у вас были длинные, черные косы.

— Да, длинные косы, — ответила она, машинально проводя рукой по коротким седеющим прядям. — А как вам вообще живется?

— Как живется? Да так себе... Не особенно. Ну, до свиданья. Очень жаль...

— Прощайте.

Дзинь! И разговор был окончен.

— Ну как, дозвонились до вашего номерочка? — приветливо спросила телефонная толстушка, когда Ольга отнесла ей книгу.

— Дозвонилась.

3

В переводе на язык советской литературы это выходило так: Родина отказалась говорить со мной по телефону и повесила трубку. Но позвольте, позвольте, не спешите с заключениями: предположим, что кто-нибудь, вынырнув из сорокалетнего небытия, позвонил мне в Париже по телефону; ведь и у меня могло оказаться неотложное свидание, спешная работа... Да, но если бы меня спросили, как зовут мою единственную сестру?

Она так долго раздумывала над этим, задержавшись у прилавка Интуриста и машинально разглядывая образцы экспортной роскоши (баночки с икрой, трех размеров, мал-мала меньше, брюхатые матрешки, палешанские лакированные коробочки с лубочными картинками на крышках), что продавщица, из породы сварливых, спросила ее с нетерпением, что она хочет купить и в какой валюте.

Она отошла от прилавка и медленно спустилась вниз, в ресторан. Спутников нигде уже не было, видно укатили на последнюю прогулку: осматривать Ленинские горы. И Бог с ними, пускай катаются, пускай слушают комментарии переводчицы. Ольга рада побыть одна, побродить неспеша в последний раз по улицам.

Стоял душный день, над крышами громоздились грозовые тучи, предвещая московский дождь,

сплошной и шумный, мгновенно затоплявший улицы. Все та же несметная, густая, серая толпа текла по тротуару Красной площади, против кремлевской стены, и женщины, на ходу, машинально и зорко оглядывали летний костюм Ольги, ее остроносые туфли, сумочку, — но никто не смотрел ей в лицо. Как дико, как грустно было ей ходить знатной иностранкой по родному городу! А вот и мрачные недра ГУМа; чугунные решетки, чугунные завитки над высокими дверьми напоминают вход в старое парижское метро. Ольга хотела было пройти мимо, но толпа увлекла ее, втиснула внутрь, в самую человеческую гущу. «Спеши, спеши», — приговаривал какой-то парень, наступая ей на пятки. — «Сам спеши», — огрызнулась она с неожиданной злостью.

Поток нес ее от одного прилавка к другому; каждый в обширной полутемной нише; на одном, под плакатом «выставка тканей для носки», высилась беспорядочная груда материи, — и, рядом с Ольгой, девушка в прозрачном платочке на светлых волосах грустно сказала спутнику: «Ну вот, сколько натюхали, а выбора нет». Неподалеку, в отделе подарков, приземистый солдатик несмело обратился к высокомерно-рассеянной продавщице: «А что, девушка, у вас нет больше медальонов с Лениным?» Продавщица повернулась к нему спиной. «Зачем тебе?» — спросил его товарищ. «Хочу, — сказал он торжественно, — хочу носить на груди дорогого Ильича». Ольга на него покосилась: нет, и тени иронии не было на этом скуластом, безбровом, обыкновенном лице.

Обратным течением ее вынесло на улицу, утомленная толпой и давкой, она повернула к отелю. Напротив, между Никольскими и Спасскими воротами, перед мавзолеем, смиренно топталась на месте бесконечная очередь. Прелесть Александровского сада, самой яркой, самой свежей в мире зелени поманила ее на мгновенье,

но поднялся ветер, из потемневшего неба тяжело упали первые крупные капли, Ольга ускорила шаг.

В отельном холле стоял многоязычный говор, прохаживались великолепные в своих белых хламидах сенегальские негры, длинноглазые китайцы, корректные и скромные, еще какие-то инородцы в пестрорасшитых халатах и тюбетейках: все это съехалось в Москву на международный конгресс. Протиснувшись сквозь экзотическую толпу, Ольга поднялась на лифте на четвертый этаж, в буфет, — самое уютное место, где можно, отказавшись от томительного обеда, в любое время наскоро закусить.

Там было тепло, в потемневшие окна шумно хлестал дождь, на прилавке возвышался огромный самовар, а за ним дородные официантки вполголоса говорили о семейных делах.

Ольгу окликнули: за одним из столиков она увидела пожилого человека с большим лысым лбом, он округлым жестом подзывал ее, указывая на свободный стул: один из ее спутников, давнишний парижский знакомый, русский литератор, уже не впервые наезжавший в Москву. И Ольга обрадовалась: хоть одно знакомое лицо.

— Что, намаялись? — сказал он. — Какой огромный город, а? Красота какая! В Ломоносовском университете побывали? А Парк Культуры и Отдыха видели? Что скажете? Какие перемены! Вы ведь столько лет не были на родине, верно ничего и не узнали? А метро? Какая роскошь! А...

Прерывая список московских достопримечательностей, Ольга сказала:

— У меня только что был очень странный телефонный разговор.

И, неожиданно для самой себя, передала ему этот разговор слово в слово.

— Это ему-то плохо живется? — воскликнул литератор с возмущением и явной завистью. — Все он врет! Он печатается, много зарабатывает, живет в новой квартире, в высотном доме, у него очень милая жена...

— Вы его знаете?

— Ну еще бы! Кто ж его не знает? Такой, знаете, бодрый старичок, весь в седых кудряшках.

— Почему же он не захотел со мной встретиться? И даже говорить, по-моему, не хотел.

— Но это же очень просто. Вы, извините меня, голубушка, слишком наивны, вы не знаете здешних порядков. Разве так поступают? Надо было сначала осторожно узнать, через третье лицо, хочет ли он вас увидеть, и где... А вы — бух! — звоните. И еще, оказывается, вы с ним в родстве!

— Но родство дальнее...

— Мало ли что дальнее! Предположим, вы захотите ему потом послать письмо или, чего доброго, посылку, а? До сих пор он всегда писал в анкетах, что у него нет родственников за границей. Теперь, значит, пришлось бы изменить — вот уже анкета и испорчена, верно? Все это надо обдумать, сообразить: стоит ли рисковать?

И вытащив из кармана коробку папирос «Спутник», с длиннейшим мундштуком, литератор крепко затянулся.

— Стоит ли рисковать, — повторила Ольга медленно, — да, я понимаю. Спасибо, я этих не курю. Конечно, не стоит, — прибавила она, подумав.

Ей принесли стакан чая в мельхиоровом подстаканнике, и официантка, понизив голос, спросила, нет ли у нее самописки, или точилочки, или хоть старых заграничных марок? Пары чулок? Губного карандаша? Но Ольга давно уже раздарила всю мелочь, что привезла с собой.

Разочарованная официантка удалилась, задевая за столики богатырскими бедрами.

— Вот, вы говорите: большие перемены, — прибавила Ольга. — Ну, конечно, огромные. Но я, знаете, все-таки многое вспомнила. И узнала.

«Мосты» № 12, 1966

ПАРИЖАНКА

Я в девчатах глупая была, дурная: бывало крестная меня уговаривает: «Поезжай, Рая, в город, поступи на технические, будешь потом большую зарплату получать, оденешься, шестимесячник сделаешь», а я: «Нет, не хочу, мне в деревне лучше». Вот и получилось: Настя, моя сестра, кончила семилетку, вышла в учительницы, а я, как была, так и осталась простой колхозницей. Почему не хотела? Такой уж у меня, видно, организм: неподходящий для учебы.

А в деревне мне, правда, было ничего. Как бывало возвращаются с поля, все девчата возьмутся под руки и запоют, одна другой голосистее, так даже немцы удивлялись. Ну, немцы, это было потом; я вам про них еще порасскажу.

Мы с Настей с раннего детства остались сиротами, а воспитала нас крестная, бездетная вдова. Жила она хорошо: изба большая, свой огород, две коровы. Только раз вызывает ее наш председатель и говорит, что вышел такой закон: должна она одну корову сдать в колхоз. А крестная моя упрямая была, твердая как камень. Вот она рассердилась! Я, говорит, до Москвы поеду, до самого Сталина дойду, а только моей Белянки рыжебородому не отдам. И что ж вы думаете? Ведь доехала до Москвы и до самого дошла — ну, может и не Сталин, а только из главных, такой, говорила, плотный, плечи спортивные, а глаза быстрые: взглянет — обожжет. Она ему так и так, я, мол, вдова, должна сирот малолетних

прокормить. Он ее выслушал и дал ей записку, чтобы корову при ней оставили. Вот этой запиской она рыжему нос и утерла; как радовалась! А корова? Ну, корову-то пришлось продать. Сами понимаете, в Москву поехать, да там три недели мотаться, ждать приема, ведь это какие расходы! Продала Беляночку, продала, ничего не поделаешь.

Замуж я вышла в первый раз, мне еще восемнадцати не было. Приехал к нам из города на поправку один партиец, старый уже, под сорок, виски седые, и начал ходить за мной по пятам: «У тебя, — говорит, — Рая, зубы веселые, у тебя, Рая, грудь хороша». Крестная мне сказала: «Ты не смотри, что старый: старый муж вернее любит, крепче держится». Я подумала и вышла.

И года не прожили вместе, только родился у нас ребеночек, — началась война: мужа на фронт угнали. Я в ту пору в поле работала, в своей бригаде: здоровая тогда была, всех баб сильнее. Помню, одно утро копала землю не разгибаясь, на самом припеке, домой пришла вся в поту, горячая, — а дома мальчик мой меня ждет, плачет-заливается. Я ему поскорее грудь сунула, а он к вечеру возьми да и захворай. На третий день помер. Уж как я плакала, когда мы его хоронили! Наша докторша мне потом объяснила, что это у меня молоко на солнце вскипело, вроде: маленьким оно вредно. Мне бы знать, я б подождала, я бы грудь остудила!

Долго плакать не пришлось: все ближе подходила к нам война, уже стали немецкие самолеты над нами кружить, бомбы скидывать. Сестру мою Настю осколком насмерть убило. Осталась после нее трехлетняя Галочка, на нашем попечении. С малым ребенком в войну одним остаться, не приведи Господи! Ребенку не страшно, нам страшно. Бывало самолет завоет, мы в рожь кинемся, лежим лицом в землю, не дышим, а ей хоть бы что: играется, василечки во ржи ловит.

Как узнали мы, что фашисты близко, вся наша деревня всполошилась, мужиков уже не было, все бабы запсиховали, в бега ударились. И я, как все: посадила крестную в тачку, Галочку ей на руки, взялась за оглобли и пошла за другими. Крепкая я тогда была, жилистая! Идем, а куда — и сами не знаем. Сколько голода натерпелись, сколько старух по дороге полегло — не сосчитать! Уж еле ноги волочим, все добро свое побросали, а немецкие самолеты над нами гудят и гудят. Ну, думаю, куда еще бежать? Этак и подохнуть недолго. Остановилась посреди дороги, повернула тачку взад-назад да и поплелась себе домой. Еще спасибо, что избу нашу на разнесли — как стояла, так и стоит.

Два года прожили под немцами. На третий год стали нас, тех, что помоложе да покрепче, силком увозить в Германию. Как горько мне было с крестной матерью расставаться, я вам и сказать не могу! И Галочка моя плачет — она уж подросла, понимала, — водит ручкой по мокрой моей щеке: «Рая, — говорит, — не уезжай!» А куда спрячешься? Своих подведешь. Забрали нас, повезли в соседний город, втиснули в скотские вагоны: девчата одна на другой сидят, ноги переплетаются. Со мной двоюродная сестра была, Маша, шестнадцати лет: запугали ее до смерти, смотрит, глаза большие, круглые, ни слова не скажет.

Довезли едва живых до лагеря, а до какого? Я и название забыла, помню только, что у города Кельна. Собрали всех на распределительный пункт и стали считать да пересчитывать. Господи, как обижали нас немцы! Щупали, вроде как лошадей — довольно ли значит силы, а один офицер все нам волосы подымал — насчет вшей, видно, опасался — да не рукой, а палкой, брезговал. А другие немцы смотрят и гогочут.

Маша стоит рядом, прислонилась ко мне и шепчет: «Раечка, я больше не могу, я сейчас упаду». И вдруг

как закричит, как грохнется! Ну, ее сейчас подобрали и увезли, будто в больницу — больше я ее не видала.

Целый день мы на заводе, тележки с грузом возим, а вечером дотащишься до лагеря, поешь — и на койку хлопнешься. А чего поешь? Суп как вода, хлеба самая малость, на свет прозрачный. От такой жизни стали наши бабы тощать и болеть, я сама как жердь тонкая сделалась, а жаловаться не смели, боялись, что немцы прикончат.

Рядом с нами в лагере сидели пленные французы — вот они нас жалели, дай Бог им здоровья. Бывало, вечером после переклички, только часовой отвернется, сейчас то один, то другой француз подбежит к проволоке и просунет — кто сыра кусок, кто палочку шоколада. Был там один паренек, кудрявый, темноглазый: он меня заметил, разузнал, как меня по имени, и все, бывало, тихонько подзывает: Рай-я, Рай-я. Ну, познакомились. Вижу, он за мной ухаживает — целую колбасу копченую подарил. Разговорились понемногу. А как разговорились? Очень просто: глазами да знаками. Раз он мне так объясняется: Хочешь, после конца войны поедем со мной во Францию, будем вместе жить? — Доживем ли еще до конца? — говорю. — Подожди, там видно будет.

Я уж правда думала, вышел мне последний срок: утром встаю, на ноги свои взглянуть не смею: одни колени торчат, как у лошади, а бедра не толще щиколки. Ну, думаю, верно мне здесь помирать.

Но время-то шло, все быстрее летело, и повернулось наконец немецкое счастье боком: теперь уж не они, а союзники над нами летали, и такая пошла бомбежка, что мы и работать не всегда ходили: каждый день дома рушатся, все кругом горит-полыхает, убитыми хоть мостовые мости. Наши немцы совсем осатанели, ходят черные от злости, не подступись. В каком страхе жили,

вы не поверите! Вдруг узнали наши французы по радио, что союзники уже близко, подходят к городу. Слышим тоже, что наш лагерный комендант исчез — будто бы в Берлин поехал за приказаниями, да не вернулся. А потом смотрим, немцы, что нас охраняли, начали разными бумагами ящики набивать. Ну, думаем, дело ясное, лагерь снимается; как бы они и нас с собой не увезли.

Мой Мишель научил меня, как быть: в тот день, как стали эвакуировать лагерь, я схоронилась под койкой и до ночи пролежала. Не нашли они меня, да и не очень-то искали, не до переклички было: сами растекались в разные стороны, как вода из дырявого ведра.

Только лагерь опустел, мы с Мишелем решили сами освобождаться, не дожидаясь американцев: захватили еды, сколько могли, и пустились в дорогу. Как мы добрались до Парижа, долго рассказывать: и пешком, и грузовиком, и поездом, как уловчишься. Сколько раз нас, бывало, задерживали в пути, требовали документа, а какие у меня документы? Но наконец доехали-таки: прямо с вокзала Мишель повел меня к родителям на квартиру. Грязные мы были оба, не дай Бог, оборванные, обветренные, а я еще и босая: свои ошметки на дороге бросила.

Родители Мишеля не ждали его, давно писем не имели. Мы позвонили у дверей: открыла нам небольшая такая женщина, черноглазая, кудрявая, как Мишель. Отступила на шаг, вскрикнула, да как кинется ему на шею! Я, глядя на них, вспомнила крестную с Галочкой и тоже заплакала... И настала для нас с того дня совсем другая жизнь.

Сказать вам по правде, не люблю я французов: спорщики, нет у них согласия; один француз тянет, другой не везет. И жадные, за свое добро зубами цепляются, не то что наши: наш последнюю рубашку

отдаст и не пожалеет, наплевать ему. Но про родителей Мишеля не могу сказать худого: они меня приняли, как родную дочь; уж очень были рады, что сын невредимый вернулся. Мишель вскоре пошел на завод, где раньше работал, а я его матери помогала, училась готовить рагу да турнедо.

Только раз отец его говорит: Мишель, вы бы поженились, чего ждете? Вон она уж с животом ходит. — Как же нам пожениться, — говорит Мишель, — когда у ней никаких бумаг нет? — А пусть, — говорит, — сходит в свое консульство, попросит бумаги: ей обязаны выдать.

Ну что ж! Я сшила себе новую юбку, брови послюнила, косы зашпилила и пошла в наше консульство на рю де Гренель. Сколько-то времени подождала, потом пустили меня к начальнику в кабинет. Сидит под самим Сталиным, важный такой, толстый, глаза как щелки. Я стала объяснять: нельзя ли мне из села Тишина, такой-то области, получить мои бумаги? — А зачем вам бумаги? — говорит он, не глядя на меня. — Да такое дело: хочу за француза замуж выйти. — Он вдруг как заорет: За француза? Что это ты выдумала? Езжай-ка себе домой, в село Тишино. — Что же это, — говорю, — неужели мне бросить человека, который меня спас из немецкого плена, последнюю корку со мной делил? — В таких случаях, — отвечает, — можно человеку сказать: спасибо и до свиданья, вот и все. За тебя, — говорит, — Родина доблестно сражалась и ты теперь обязана, как честная гражданка, ей помочь по силе, говорит, возможности. А если ты этого, дура, сама не понимаешь, то все равно поедешь домой: нечего тебе делать в Париже.

Тут я до того расстроилась, что даже в голове зазвенело; вскочила, подбоченилась и прямо ему, в заплывшие его глаза: А вы, — говорю, — где были, когда

немцы нас похватали, напихали в вагоны, ровно овец, и увезли к себе в плен? Наша что ли была вина? Может, вы в лесах хоронились или в Москве морду себе отгуливали? — Он только поглядел на меня, ничего не сказал, и нажал на кнопку.

Сейчас вошли двое ребят, здоровенные, плечисты, повели меня по коридору в другую комнату. Там, смотрю, сидят уже наши тихо по стенкам: все больше бабы с мелкими детишками и девчата какие-то нарумяненные. Я тоже села на лавочку и говорю соседке тихонько: Что же с нами теперь сделают? — А ничего, — говорит, — особенного не сделают: только повезут в лагерь Борегар, а оттуда домой, в Союз. — Ой, батюшки! Сижу я и думаю: если бы они мне сказали — ну, Раиса, выбирай, домой ли ехать, в Париже ли оставаться, я бы еще подумала; ведь мне и крестную с Галочкой жалко, и за деревней я соскучилась, — а Мишеля бросить? Тоже не могу. Но чтоб насильно меня хватать и опять в лагерь, — ну нет, натерпелась, ни за что не хочу! Только потом я от людей узнала, что не в Тишино меня бы увезли, а отправили прямехонько в Сибирь за то, что по ихней вине в немецкий плен попала.

Сидим мы значит по лавочкам, молчим, только пеленашки пищат, а время идет, уже за окнами посинело. Вдруг входят опять те ребята: вас, говорят, гражданки, здесь маненько забыли за важными государственными делами, в лагерь теперь уже поздно ехать: утречком доставим в один миг, а пока поедете ночевать на квартиру. — На какую же это квартиру? — спрашиваю тихонько соседку. — А пес их знает, — говорит.

Впихнули нас в грузовик и повезли через весь город, неведомо куда. А квартира оказалась большая, видно, господская, на самом нижнем этаже. В первой комнате мебели много наставлено и, вижу, стоят два солдата, опершись на камин, и махоркой дымят, а другие

комнаты пустые, только койки вдоль стен. — Ложитесь пока что, девушки, — говорят те, что нас привезли, — а пошамать вам ужо утром дадут. Бывайте здоровы. — Как были голодные, так и легли, не раздеваясь, без света, электричество у них не работало. Рядом со мной лежит женщина, ребенок у ней скулит, жалуется, а она храпит, видно, намаялась.

А я не могу заснуть, гляжу в темноту, — окна у них не задернуты; слышу, на улице дождик плачет, и так мне стало скучно, так скучно, сил моих нет! Целый час, верно, пролежала, все думала, потом встала тихонько, чтобы никого не разбудить, и вышла в соседнюю комнату. Вижу, те два парня сидят себе у столика, винтовки на пол поклали и промеж себя колбасу делят.

Оглянулись на меня: Чего ж ты, бабочка, не спишь, чего плачешь? Видно неохота на родину возвращаться? — Я к ним так и кинулась: Братики родные, — шепчу, — вы ж сами видите: беременная я! За что же маленькому без отца расти? Отпустите вы меня к мужу за ради Бога. — Они переглянулись, посмеиваются, ничего не говорят. Тут я вдруг вспомнила, что у меня в сумке сколько-то денег было. — Отпустите меня, — говорю, — милые, а я вас поблагодарю, — и тут же весь кошелек на стол высыпала. Они посмеялись еще, пошептались, а потом говорят так: На улицу пустить тебя не можем, себе дороже стоит. Хочешь, лезь в окно во двор, выбирайся сама, как знаешь. Тебе, говорят, повезло, что вас еще в списки не записали, не успели. Авось, не хватятся. — Спасибо, — говорю, — голубчики, дай вам Бог благополучно вернуться домой, жену найти без приплода. — Они открыли тихонько окно во двор, сами меня подсадили, да еще по заду щелкнули. — Ну, прыгай, дура, да смотри, не шуми. — Уж не помню, как я выскочила — точно, невысоко было. Стою на темном дворе, слабый свет из их окошка льется, стою

и говорю себе: Только я и слышала от своих, что два раза дурой обозвали.

На мое счастье ворота не были на запоре: нащупала я засов, тихонько подняла и выскользнула на улицу. Кругом ни души, небо низкое, черное, дождик хлещет, лужа под фонарем блестит.

Прошла я несколько шагов. Куда же мне теперь? Как мне домой добраться? Я и спросить-то не сумею. Налечу еще на полицию, затребуют документ, что я скажу? Схватят меня, пошлют к советским в лагерь, — вот я и пропала. Только успела так подумать, слышу шаги, идет по тротуару какой-то высокий, будто в плаще, — прямо на меня. Ну, думаю, значит, конец — и прислонилась к стене, не дышу. А он подошел совсем близко, нагнулся, всмотрелся и шепотом: «Рай-я». Под фонарем глаза его блестят, вижу волосы курчавые, мокрые. Мой Мишель! Я так и ахнула — это чудо для меня особенное совершилось, — а сказать ничего не могла. Он меня подхватил за плечи — меня ноги не держали, — укрыл своей пелериной, и так мы с ним под дождиком пошли пешком через весь город, к себе в Булонь.

Мишель мне потом объяснил — никакого, говорит, особенного чуда: вижу, ты не возвращаешься, стал беспокоиться, пошел в ваше консульство справиться, дал там швейцару сто франков в зубы, он мне сказал, на какую квартиру вас отправили. Я и решил: буду всю ночь ходить вокруг того дома, чтоб тебя не увезли неизвестно куда.

Вскоре после того мы и поженились. Документ мне, какой нужно было, состряпали в мэрии: какой-то бродяжка с улицы подтвердил, что я точно в таком-то году родилась в селе Тишине. Теперь живем ничего, грех жаловаться; дочка у нас растет, назвали Николей; уже в школу ходит. Нашли квартирку в две комнаты

с центральным. Мишель работает, и я тоже: вот, хожу убирать по чужим квартирам.

Помню, ко мне, бывало, крестная пристает: Рая, снимись на фотокарточку, с кошечкой снимись. — Зачем это? — говорю. — Я, во-первых, кошек не люблю. — А она опять: Снимись, будешь парижанка. Все парижанки с кошками снимаются. — Уж не знаю, кто это ей наплел.

И вот, точно она мне напророчила: и не ждала, не гадала, а стала парижанка.

Нет, хорошо живем, дай Бог всякому. Только вот, когда весна приходит... У нас она быстрая, буйная, пахучая, в три дня снег сойдет и польются воды. А тут и не разберешь, что зима, что весна: травка всегда зеленая, снег не держится, настоящего мороза нет. Вот весной я, бывает, заскучаю...

«Мосты», № 12, 1966

МИРОЧКА

Когда она родилась, мир был еще сравнительно благополучен. В их квартире — две комнаты, кухонька и все, что полагается, — появилась даже настоящая русская няня, одна из последних представительниц вымирающей породы. Мирочке с няней отвели комнату побольше, а молодые родители работали и целовались в другой.

— Собственно говоря, у нас на няню нет средств, — объясняла Ирина друзьям. — Но если рассуждать по-мещански и подсчитывать франки — у нас и на ребенка средств не было. И ничего, слава Богу родили. Как-нибудь вылезем из положения.

И вылезали: то попадался выгодный перевод, то приходила денежная посылка из Польши. Вскоре приехала оттуда Гришина мама, сама еще моложавая, пухленькая и восторженная. От Мирочкиной постельки приходилось ее оттаскивать чуть не силком. Сразу выяснилось, что такого замечательного ребенка никогда еще не было на свете.

— Гриша, ты посмотри только, какие у нее ляжечки, — твердила она, пеленая девочку. Гриша неохотно отрывался от своей диссертации, бросал на задранные розовые ножки беглый взгляд и говорил: «да, да, очень миленькие».

Помощь свекрови, конечно, пригодилась Ирине, в практических делах совершенно беспомощной: сама

говорила, что у нее две левых руки. Но няня была недовольна, что приезжие путаются не в свои дела, и уходила на кухню, поджав губы.

— Избалуют мне ребенка, а я потом возись, — говорила она.

Вообще няня, как печально отметил Гриша, совсем не была похожа на Арину Родионовну: ни поэтического чутья, ни материнской мягкости. Молодых родителей она держала в ежовых рукавицах, запрещала им целовать ребенка, поздно разговаривать и курить — воздух портить. К их гостям относилась критически: когда те уходили, она говорила как бы про себя, перемывая чашки на кухне:

— Хвастает все, глядите мол на мою кофточку, — из самого первого кутюра, — а дома, небось, сидят на крученом.

— Как это, няня, на крученом?

— Ну, на котлетах, — неохотно объясняла няня.

В церковь на рю Дарю она сходила один только раз и вернулась явно недовольная.

— Ну, что, Ирина Яковлевна, все то же самое, как бывало у нас в России: и молитвы те же, и дьячок рычит... Неинтересно.

Но ей все прощалось за то, что Мирочка всегда была чистенькая, до блеска вымытая, вовремя накормленная, веселая, с сияющими от радости синими глазами. А когда она подросла и стала болтать по-русски, выяснилось к общему удивлению, что у нее чистейший московский выговор.

Девочке пошел четвертый год, когда разразилась беда, которую все давно предчувствовали, о которой старались не думать: все вокруг потемнело, небо застлали черные тучи, вдали загрохотало. Безнадежное уныние нашло на Гришу: неужели опять бежать?

Куда? На какие деньги? Но Ирина, которая от природы была смелей и упорней, не хотела сдаваться. Как-нибудь проживем, ведь не звери все же немцы: мы с тобой их знаем, сами немецкой выучки. Главное — не терять головы.

В начале «странной войны» жизнь была еще почти нормальной, и они кое-как перебивались. Конечно, не обходилось без волнений: так, оказалось, что противогазовые маски — дефицитный товар, на всех жителей не хватило, и решено было выдавать их только французам, а иностранцам в этом добре отказать. Правда, впоследствии выяснилось, что маски эти все равно были ни к чему, но тогда этого никто не знал, и беспокойство лишало Ирину сна. Подумать только, в военное время оказаться с ребенком на шестом этаже, да еще без масок!

А если будут налеты? Газовые атаки?

И она решила отправить Мирочку с няней в провинцию, где безопасней; благодаря знакомым нашла для них комнату в предместье Сен-Мало, в Бретани. И вот настал уже день отъезда; няня с Мирочкой на руках стоит у окна вагона («помаши маме ручкой»), и Ирина рыдает, прижавшись к Грише, а он обнимает ее за плечи одной рукой, в другой же болтаются четыре маски в узких длинных футлярах, приобретенные в последний день на черном рынке — и теперь уже ненужные.

У хозяйки, бойкой вдовы мадам Пайардон, Мирочке с няней отвели белую комнату с широким окном, в которое всей своей синевой входило море. «Ты послушай, как оно шумит», — говорила няня. Очень весело было, встав на цыпочки и сплющив нос на стекле, смотреть, как бегут синие волны с белой каймой, как в иные дни с грохотом перелетают через каменный вал и разбиваются, затопляя набережную. Трамвай тогда останавли-

вался, точно в нерешительности, и из него высыпались пассажиры и топтались на мокром месте.

Еще веселее было в теплой шубке, гамашах и ботиках бегать по пляжу, проваливаться в сырой песок, и шлепаться, и, со смехом подымаясь, убегать от ветра и волны. Няня чинно шла сзади, по твердому, у самого синего моря, и покрикивала: «Смотри, ноги промочишь! — Только она не умеет курир, — объясняла няня хозяйке на своем персональном, мало кому понятном наречии, — все равно, что ее пер: он тоже курир неспособный. Оба они неумелые, вроде косолапые».

Благодаря няне, и на новом месте все подчинялось привычному законному ритму: утренний завтрак — молоко со слоеной булкой, прогулка с няней, обед, даже вечернее купанье, — правда, не в ванночке, а в лоханке, но с той же любимой резиновой уткой; и так же Мирочка кричала: «Няня, глазочки!» — когда мыльная пена щипала ей веки.

В первые дни она еще иногда тревожилась, спрашивала: «А где мама? Где папа?» И няня неохотно отвечала: «Приедут скоро, вот они пишут», — и показывала ей письмо. Но скоро Мирочка о них забыла: слишком много было интересного вокруг. Она подрастала, наливалась, как яблочко, здоровьем, синие глаза блестели от удовольствия. На нее оглядывались и заглядывались прохожие, когда, подражая няне, она говорила при виде трамвая:

— А вон пылишша едет.

— На каком языке говорит ваша внучка, мадам? — спрашивали няню.

— Рюсс, — отвечала та лаконично.

— Ах, вот как! — и смотрели на Мирочку с симпатией и удивлением.

Та роковая весна выдалась на редкость теплая, голубая. Пока еще приходили из Парижа деньги, Мирочка

с няней отправлялись иногда в Сен-Мало за необходимыми покупками — сандальями для пляжа, белой юбочкой, — а потом, взявшись за руки, гуляли по старинному каменному валу, опоясывавшему город. «Ишь, чего понастроили», — удивлялась няня, глядя на высокие узкие дома со скупыми прорезами окон, выстроенные из гранита еще корсарами и так и простоявшие незыблемо несколько веков, — до недалекой уже бомбежки, которая превратит их в прах.

Жизнь их протекала ровно, однообразно. «Чего ж еще ребенку нужно?» — говорила няня, мудро охранявшая Мирочкин покой. Иногда вспыхивала ссора с мадам Пайардон, живой, темноглазой, с белой прядью в черных волосах: она находила, что ее жильцы изводят слишком много электричества. Няня сначала в недоумении качала головой, потом тоже начинала сердиться и кричать, Мирочка подпрыгивала рядом и веселилась, и все кончалось тем, что хозяйка угощала их вкусными, тоненькими как кружево бретонскими блинами. И в сущности эти ссоры были их главным развлечением.

Газет няня не читала, радио не понимала, поговорить по-русски ей было не с кем, — поэтому она плохо разбиралась в военных делах, но старалась по-прежнему верить в устойчивость линии Ма́жино (с ударением на первом слоге), о которой в свое время много слышала от Гриши. Все же на нее порой находили сомнения. Раз, возвращаясь с Мирочкой домой, она увидела на городской площади столпившихся вокруг громкоговорителя людей, услышала хрипловатый голос Поля Рейно, и хоть ничего не поняла, но встревожилась: рядом с ней вдруг заплакал пожилой мужчина, а его спутница ахнула и прижала кулак ко рту.

— Что ж это? — испуганно сказала няня. — Неужто немцы их побили? А как же линия Ма́жино?

Все неспокойнее становилось у нее на душе. Теперь день за днем, с утра до утра, катили под их окнами машины, до отказа набитые женщинами и детьми, с растрепанным мужчиной за рулем, с матрасами и подушками, привязанными к крыше автомобиля. «Это беженцы из Голландии, из Бельгии, — объясняла мадам Пайардон, — а это уже наши, с севера, с востока», — и вздыхала. Слово «рефюжье» было няне хорошо знакомо, и она ничему не удивлялась, хорошо помня Москву пятнадцатого года и толпы беглецов из западных губерний. Но скоро штатские беженцы сменились военными — офицерами в формах, с женами и собачками. А когда прекратился поток машин, на набережной появились безоружные пешие солдаты; они брели не торопясь, и вид у них был удивительно растерзанный: порванные мундиры, худые сапоги. «Мой батальон? — говорили они саркастически. — А где ж мне его найти? И что от него вообще осталось? Все, небось, разбежались...»

В одно прекрасное утро английский гарнизон, стоявший в городе, вдруг снялся с места, и чистенькие солдаты в плоских фуражках с большими околышами, разгуливавшие бывало по улицам, как на курорте, стали быстро погружаться на военные суда. «Going home», — весело объясняли они жителям, которые с беспокойством спрашивали их, куда и зачем они уезжают.

В тот день, когда хозяйка, забывшая даже снять папильотки, ворвалась в ранний час к ним в комнату и закричала: « ils sont là!» — няня сразу все поняла. Уже давно не было писем из Парижа, над городом стлался едкий черный дым (перед уходом защитники подпалили запасы горючего), — радио замолкло, не было электричества и в магазинах с грохотом опускали железные занавесы.

«Какие они зеленые», — удивлялась Мирочка, глядя в окно на проходивших по набережной, отбивая четкий

шаг, солдат в зеленоватых формах, с зеленоватыми лицами. Няня шумно захлопнула окно и затянула белые шторы, разом отрезав комнату от безжалостно синего неба, от безмятежного морского шума. На мэрии в тот же час взвился флаг со свастикой.

«Не трогайтесь пока с места, — написала Ирина, едва возобновилось сообщение. — У вас там спокойнее и с продовольствием наверно легче. Здесь очень трудно. Пока возможно, буду высылать вам деньги. Приеду за вами осенью».

Когда она приехала, Мирочка, выросшая за лето и ставшая как шоколадка коричневой на соленом воздухе, встретила ее отчужденно и робко. Ирина неловко опустилась перед дочкой на колени, хотела подхватить ее на руки, но та увернулась, отступила, уцепилась за нянину юбку. «Скоро опять привыкнет к вам, будьте спокойны», — примирительно сказала няня. Ирина все же притянула девочку к себе, поцеловала в твердую загорелую щечку, — и неровно обрезанные пряди упали ей на глаза, скрывая слезы.

Мадам Пайардон уступила ей свою комнату, с распятием над высокой постелью и большим портретом покойного мужа в овальной раме на стене (длинные усы, выпученные глаза), а сама перебралась на две ночи к сестре. Но Ирина не могла уснуть: мешал грохот осеннего прилива, мешала неотступная тревога. Что с нами будет, как нам дальше жить? Ведь из нас четверых я одна взрослая, я одна отвечаю за всех. Может быть напрасно я тащу их в Париж, может быть и нам с Гришей надо было перебраться сюда вовремя, вырваться с англичанами на свободу? Не безумие ли жить, как мы, тише воды, ниже травы, работать, как будто ничего не случилось, над Гоголем, над латинскими поэтами? Может быть и это теперь — преступление?

Мадам Пайардон всплакнула, целуясь с няней и Мирочкой — я так к ним привыкла! — и на прощанье по-царски их одарила: дюжиной яиц, фунтом соленого масла и длинной копченой колбасой. Растроганная Ирина прослезилась тоже, запихивая подарки в дорожный мешок.

«На вокзал, если будет сырая погода, не приеду, — заранее предупредил Гриша, — мои очки затуманиваются и я ничего не вижу». Он ждал их дома, маленький, пухлый, в теплом свитере, в какой-то детской вязаной шапчонке, натянутой на уши: центральное отопление бездействовало, и в комнатах было холоднее, чем на улице. Но за толстыми стеклами его глаза, такие же детски-синие, как у Мирочки, сияли радостью. «Ну, какая большая, — твердил он с искренним удивлением, — совсем другая девочка! Давай познакомимся».

Няня, не снимая теплого пальто, критически огляделась. «Чего ж вы в холоде сидите?» — сказала она, и на другой же день раздобыла по оказии железную печурку и связку мелко наколотых дров. «Без меня месье-мадам капут», — объяснила она консьержке на своем особом наречии, и та поняла ее и согласилась.

Так, несмотря на страх, на одиночество и недоедание, возродился на время их семейный очаг, согревая их своим неярким, но верным пламенем.

У Мирочки от холода распухали пальцы, но она редко жаловалась, потому что с ней целый день возились, учили русским и латинским буквам, придумывали для нее игры, — пока няня изощрялась на кухне, сочиняя небывалые блюда, вроде пирогов из черной муки, начиненных морковью. Иногда Ирине удавалось достать что-нибудь на черном рынке: приносила домой пушистого серого зайчонка, грустно скрестившего передние лапки, или просто куриную ногу, у которой был такой вид, будто ее оторвали с корнем.

По вечерам никогда не выходили: в густой темени парижских улиц только изредка мелькал прохожий с карманным фонариком в руке да стрекотали, молниеносно пролетая мимо, вражеские мотоциклы, — и становилось не по себе. Больше всего боялись облавы: вдруг остановят, спросят документы?

После обеда, изо всех сил напрягая слух, пытались уловить сквозь навязчивую музыку громкоговорителя сообщения лондонского радио, питавшего их надеждой. Иногда попадались в них загадочные фразы, вроде «пантера выходит на водопой», и Гриша забавлялся, придумывая к ним рифмы, а Мирочка старалась ему помогать. Память у нее была удивительная.

«Какая способная девочка, смотри, как она быстро научилась читать, а ей ведь еще пяти нет. Наверно и она, как мы, будет любить книги, стихи...» И Ирина принималась робко мечтать о будущем; ей мерещилась дочка в школе, потом в университете, — веселая, хорошенькая, всеми любимая, живущая в светлом и справедливом мире.

Так прошло несколько месяцев. От телефона пришлось отказаться — денег было в обрез. Жили в полном одиночестве, скудно и скучно, но ведь ко всему можно привыкнуть. «Мы все еще в черном тумане, — сказала однажды Ирина, — но по-моему скоро покажется в конце светлая точка и начнет незаметно расти. Ты заметил, что на нашей площади, в скверике, под снегом пробивается трава?» «Не заметил», — печально ответил Гриша.

В тот день, когда пришла для него повестка из комиссариата, оба долго совещались в своей комнате, с непривычной строгостью отсылая дочку, когда та просовывала в дверь розовое личико. «Нет, милая, иди пожалуйста к няне — мы заняты». Она уходила и че-

рез минуту снова принималась медленно скрипеть дверью. Наконец Ирина вскочила, приподняла ее за локти и выставила в коридор.

— Что это у них, видно неприятности какие? — спросила няня, возившаяся на кухне. — Ну, садись к столу, деточка, давай сухой горох разбирать.

Она лежала перед ними на столе, зеленоватая бумажка с печатным шрифтом, — только несколько слов были вставлены от руки: имя, дата, какие-то подробности. «...Явиться в комиссариат в понедельник, в восемь часов, принести смену белья, одеяло...»

— Нет, нет, ни за что не ходи, — сказала Ирина, — что это вообще значит? Зачем тебя вызывают? Не ходи, ведь это ловушка, ты должен сегодня же уехать, скрыться...

— Но тогда арестуют тебя, заберут ребенка, — упрямо, тихо возразил он. — По-моему, пока нам бояться нечего: ведь комиссар наш знакомый, он обещал предупредить нас в случае опасности... Может быть меня просто хотят выслать из Парижа? Во всяком случае надо справиться, узнать, в чем дело...

Опять, как перед отъездом из Сен-Мало, на Ирину нашло странное оцепенение, сковала ее нерешительность. Как поступить? Что лучше, что хуже? Не у кого спросить совета.

Наутро, после бессонной ночи, не попрощавшись с дочкой, — зачем ее будить? — они ушли вдвоем: он — маленький, плотный, в запотевших незрячих очках на коротком носу — то и дело спотыкался, а она, крепко держа его под руку, склоняясь к нему укутанной в нянин платок головой, скользила в сношенных туфлях по мокрому тротуару, и невольно, инстинктивно задерживала шаг.

Но в комиссариате их сразу отделили друг от друга: Гриша оказался в кучке молчаливых седобородых

евреев и молодых, горячо протестующих, пытающихся что-то доказать, — а между ними и Ириной выросла цепочка полицейских с каменными застывшими лицами. Комиссара же нигде не было видно.

— Господин комиссар, — сказала она, с трудом справляясь с голосом, когда к вечеру добилась с ним свидания, — господин комиссар, вы же сами сказали... вы обещали, что предупредите нас...

— Но я именно предупредил вас, мадам, — ответил комиссар со сдержанной досадой. — Разве вы не получили моей повестки? (Что ж, неужели надо было им черным по белому?...) В вашем распоряжении было двадцать четыре часа. И я, право, не мог предполагать... Ведь всех других забрали без всякого предупреждения сегодня на рассвете. Неужели вы не догадались?...

Нет, не догадалась, не решилась вовремя, все погубила, всех погубила. Что же теперь делать?

— Плакать во всяком случае бесполезно, — сурово сказал комиссар, отводя от нее глаза, стараясь не видеть крупных слез, скользивших по ее щекам, — я, собственно говоря, вообще не имею права давать вам советы. Но пока ваш муж во Франции, вы можете еще попытаться... Потом будет поздно.

Так он исчез из их квартирки со всеми удобствами, этот маленький, близорукий, беспомощный человек, любивший все, что в теперешней жизни оказалось непригодным. Его работа о Гоголе оборвалась на полуслове, как его жизнь.

Они остались втроем, три женщины, — старая, молодая и маленькая. «А папа? Где папа?» — спрашивала Мирочка. Отсутствие отца отзывалось в ней ощущением странной пустоты, точно все стало неустойчивым, шатким. По утрам он, бывало, читал ей стихи Чуковского и Маршака, и они вместе смеялись над

мальчиком Петей, который опрокинул склянку чернил и свалил вину на кота. По вечерам, улегшись рядом на полу, они вместе строили дома из кубиков. Играли, как товарищи, и тут с его стороны не было притворства, которое так остро ощущают дети: они действительно были на равных, — так же, как Мирочка, он сердился и стучал ногами, когда его здание из кубиков, пошатнувшись, разлеталось во все стороны.

«Где папа?» — повторяла она. «Уехал на родину, в Польшу», — говорила няня. «Зачем?» Ирина отворачивалась, не отвечая, стараясь справиться с собой. «Папа в тюрьме», — сказала она однажды, и няня неодобрительно на нее посмотрела. «Зря ребенку такое говорите», — упрекнула она.

Когда забрали Гришу, Ирина заметалась по городу, как безумная. Не может быть, чтобы не спасли его, такого талантливого, доброго, скромного, так много успевшего за свою короткую жизнь. Но хлопоты ни к чему не приводили. Те, что имели власть, не принимали Ирины, другие с сожалением пожимали плечами и говорили ей в утешение: «Но ведь во Франции с ним ничего не может случиться».

Тогда она стала часто уезжать из дома, и каждый ее отъезд сопровождался отчаянным ревом и криками, — потому что ведь ясно было, что и мама пропадет, что и она никогда не вернется.

— Уж вы как хотите, Ирина Яковлевна, а только уходите из дома пораньше, чтоб она вас не видала, — потребовала няня, — и так мне совсем ребенка разбередили.

И Ирина, постояв минуту над спящей девочкой, уходила на цыпочках, неслышно затворяя за собой дверь, унося в памяти драгоценное видение — тень длинных ресниц на тугой щечке, абрис розового уха среди разметавшихся русых прядей. Все это надо было

твердо запомнить, чтобы передать Грише, к которому она ехала. Он был недалеко, — но только в другом месте, в местечке Питивье под Орлеаном, — но в лагере, за колючей проволокой, среди сотен людей, виновных в том, что они принадлежали к отвергнутой победителями расе.

Французским жандармам не слишком было приятно сторожить людей по приказу врага, и поэтому они за небольшую взятку охотно делали поблажки заключенным: выпускали их за ворота на весь день, когда приезжали к ним близкие. И Гриша с Ириной часами могли бродить по улицам городка, держась за руки, как дети, — и они говорили, говорили на родном языке, самом драгоценном, последнем их достоянии. «До чего ты похудела, — тревожился Григорий, — береги себя, пожалуйста». Сам он не слишком изменился, был спокоен духом и даже пытался исподволь работать: Ирина привозила ему книги.

Казалось бы, чего проще: уйти пешком или раздобыть велосипед и полететь по проселочным дорогам, избегая главных, — бежать, как бежали парижские портные, лавочники, владельцы маленьких еврейских ресторанов. Но у Гриши на хватало на это решимости. «Он бегать неспособный», — говорила, бывало, няня; теперь-то и сказалась эта роковая неспособность. А на велосипеде он ездить не умел: когда он был ребенком, родители его долго колебались, но так и не решились подарить ему эту опасную игрушку.

И они продолжали ждать: обещанных рекомендательных писем к министерству Виши, вмешательства влиятельных лиц, Красного Креста. Ждали слишком долго.

Когда Ирина, как каждую неделю, приехала в Питивье, старый жандарм, стороживший у ворот, встре-

тил ее сумрачным и смущенным взглядом, потом потупился:

— Их вчера увезли немцы, мадам. Всех. Нет, мы не знаем куда. Завтра привезут других.

Лагерь был пуст.

О себе она не заботилась, за себя никогда не боялась, знала одно: если не броситься сейчас же вслед за ним, не искупить своей вины, остается только лечь и умереть, как собаке, потерявшей хозяина.

И она нашла ходы, раздобыла фальшивые документы, ночью, с проводником, тайно перешла в «свободную зону», добралась до швейцарской границы: там, думалось ей, в нейтральной стране, удастся узнать что-нибудь о Грише. Но на швейцарской границе ее задержали, усомнившись не в подлинности ее бумаг, а в указанном в них — точном — возрасте: за последнее время, от волнения, горя и слез, она так изменилась, что казалась гораздо старше своих тридцати лет.

Ее передали в руки немецкой полиции, потащили обратно в Париж, и тут следы ее теряются, она исчезла в «ночи и тумане», как лирически выражались гестаписты, цитируя Фауста. Кто-то будто бы видел ее в женском лагере Терезиенштадт, кому-то она помогла, кого-то утешила в предсмертный час, — пока не свалилась, верно, сама, — исхудалая, бритоголовая, в лохмотьях, — возвращаясь с работы в лагерь. Но Мирочка так об этом никогда и не узнала.

Ее с няней уже за несколько недель до того приютили знакомые Ирины — пожилая французская чета, перебравшаяся из голодного Парижа в Бургундию. Там у них был старый дедовский дом с толстенными каменными стенами, с каминами во всех комнатах, с огромными, до потолка, бургундскими стоячими часами, перед которыми Мирочка долго простаивала,

любуясь ярко расцвеченными розанами на деревянном футляре. Она спала с няней в чьей-то бывшей детской, веселой, светлой комнате, окна их выходили в весенний сад, где розовым и белым зацветали персики и яблони.

— А где мама? — спрашивала Мирочка.

И опять, не глядя на нее, няня отвечала:

— Приедет скоро, приедет.

Никто больше не подхватывал ее с разбега на руки, не учил читать по-русски, не играл с нею. Теперь ее окружали только старые люди: седой очкастый доктор, который редко принимал больных и почти весь день либо сидел у себя в кабинете за книгой, либо, скрестив пальцы за спиной, задумчиво прохаживался по заросшим сухим сорняком дорожкам, — и его жена, тоже седая, но еще чернобровая и даже черноусая, быстрая, говорливая и такая толстая, что, как сразу заметила Мирочка, на сиденье стула целиком не умещалась. И была, конечно, няня, неизменный оплот, со своими знакомыми словечками и воркотней, с запахом шерсти и мыла, такая *своя*, что слово «старая» к ней не подходило, несмотря на пучок снежно-белых волос на затылке и морщинистое лицо.

Почему-то в большом докторском доме Мирочке было не так привольно, как бывало у мадам Пайардон; ей все казалось, что она случайно попала в гости к чужим людям. «Не трогай этих безделушек, моя милая, — говорила жена доктора, — они принадлежат моей дочери, Мари-Анн. А когда приходишь из сада, сейчас же снимай ботики и надевай туфли». Это было довольно сложно — Мирочка только и делала весь день, что выбегала в сад и вбегала в дом. Но ослушаться она не смела и, сидя на полу, кряхтя, стаскивала с себя ботики. И где же была Мари-Анн, их *настоящая* дочка? О ней никогда не говорили.

К удивлению няни, Мирочка стала молчаливой и застенчивой — не узнать! — и появилась вдруг дурная привычка: она принялась, как в раннем детстве, сосать два пальца, средний и указательный, и сколько их ни мазали горчицей — не помогало.

Но и няня, как про себя заметила Мирочка, была теперь не такой властной и уверенной в себе, как прежде. «Не шуми, они после завтрака отдыхают», — шипела она на девочку, или: «Доешь суп, не то она обидится». И Мирочка догадалась, что няня старается быть полезной в доме (хоть и приходила ежедневно из деревни уборщица Мари): помогает на кухне, подметает золу у камина и спрашивает иногда на своем индивидуальном наречии: «Вуле, мадам, я схожу до вилажа»?

Хорошо еще, что, набегавшись за день, Мирочка засыпала, едва няня тушила свет: поэтому она не услышала разговора в соседней комнате — спальне хозяев.

— Но ведь ты знаешь, она давно отказалась от жалованья, — нерешительно сказал доктор, — с самого начала войны.

— Знаю, знаю, но ты все-таки пойми: зачем она нам? Лишний рот. Конечно, в мирное время я бы на это не посмотрела, но теперь — все проблема! Например, в прошлый вторник, когда мне в кои веки удалось раздобыть приличный ростбиф...

— Но девочка так к ней привязана!

— Неужели ты думаешь, что я не способна ее заменить? Слава Богу, я свою воспитала как следует... И ведь Мира еще маленькая, она скоро забудет.

— А куда же денется эта старушка?

— Я уверена, что мне удастся ее пристроить. Как раз на той неделе одна аптекарша из Санса, у которой трое малышей, спрашивала меня...

— А я все-таки против, — неуверенно сказал доктор.

Так произошла немыслимая, непостижимая катастрофа, перевернувшая весь мир: няня, уже несколько дней ходившая с поджатыми губами, мрачная и молчаливая, в одно прекрасное утро гневно побросала свои пожитки в плетеную корзинку, всюду ее сопровождавшую, а потом, схватив Мирочку на руки, прижимая ее к себе, стала причитать: «Ты будешь без меня умница, будешь слушаться мадам, сама каждое утро будешь мыться, а я к тебе скоро приеду...»

Ах, лучше бы она, как бывало Ирина, ушла из дому засветло, потихоньку, неслышно!... Тогда не было бы этой сцены в передней, и Мирочка не цеплялась бы за ее юбку, рыдая и топоча ногами, не кричала бы на весь дом, так что доктору пришлось даже заткнуть уши и убежать к себе в кабинет. И если бы ее вовремя не схватили за плечи, она верно бросилась бы на улицу, к деревенскому автобусу, куда втиснули громко сморкавшуюся няню с ее плетеной корзинкой.

— Смотри, какая она скучная, — сказал доктор, следя в окно за Мирочкой, которая постояла у ворот, пальчиком водя по чугунной решетке, а потом повернулась и медленно пошла обратно по аллее, — она ничего не говорит, не жалуется, но мне очень ее жалко. Она кажется такой покинутой.

— N'exagérons rien, mon ami: она окружена заботой и вниманием, мы ее кормим и одеваем как нельзя лучше, — по нынешним временам. А вчера мы с ней сажали тюльпаны, и ей было очень интересно: я копала ямки, а она клала в них луковицы, и я ей объяснила, что они сначала будут спать в земле, а весной проснутся и высунут наружу зеленый носик... Она очень внимательно слушала; на редкость понятливый ребенок. В мае мы будем с ней сажать георгины, анемоны и так далее. Я заведу для нее отдельный цветник... Все дети любят копаться в земле.

— Да, — сказал доктор, — но до мая еще далеко.

Черноглазая, черноусая его жена нетерпеливо отмахнулась.

— Право, ты преувеличиваешь. Вспомни, сколько теперь на свете несчастных детей, голодных, брошенных на произвол судьбы...

Она могла бы прибавить: отправленных в лагеря, расстрелянных, задушенных в газовых камерах, умерших в вагонах для скота. Но об этом она еще ничего не знала. А с Мирочкой ничего страшного не случилось: она только потеряла родной дом и самых близких.

— Не вечно будет продолжаться эта проклятая война, — прибавила она примирительно, — даст Бог, *они* скоро высадятся во Франции, Мари-Анн с мужем приедут из Лондона, родители Миры тоже вернутся...

— Может быть, может быть, — сказал доктор и, открыв окно, позвал:

— Иди сюда, Мира, будем с тобой читать сказки.

Нет, конечно, Мирочке неплохо жилось у докторской четы.

Раз — это было ранней весной, и до высадки союзников в Нормандии оставалось лишь несколько месяцев, жена доктора вернулась из деревни встревоженная.

— Послушай, — сказала она, входя к мужу в кабинет, — знаешь, что мне только что сказала булочница?

— Что?

— Какая это, говорит, девочка у вас живет? Не еврейский ли ребенок? Теперь, говорит, много еврейских детей прячут в деревнях.

— А ты что?

— Ничего. Только засмеялась: какие вы, мол, глупости говорите.

— Напрасно. Надо было ей ответить: это дочка наших друзей, погибших при бомбардировке, - ну, скажем, Руана. Всегда лучше дать им точный, определенный ответ, чтобы они отстали.

— Да? Пожалуй, ты прав, — задумчиво сказала она. — Но я хотела бы знать, почему это ей взбрело в голову? Кто это ей намекнул? Уж не наша ли Мари? Ей тоже надо будет внушить... Видишь ли, ты, конечно, ни о чем не думаешь, а я по ночам не сплю, голову себе ломаю: в связи с этой девочкой возникает целый ряд вопросов...

— Например? — сухо спросил доктор.

— Например: ей уже пошел седьмой год, как тебе известно. Осенью, если она еще будет у нас, мы обязаны послать ее в школу. Под каким именем? С какими бумагами? Какой она, вообще, национальности?

— Ну, — сказал доктор, подумав, — там видно будет. Как-нибудь уладится. Скажем, что у нее вообще бумаг нет, — пропали во время бомбардировки. Уж мы с мэром что-нибудь сочиним.

— Что ж, ты будешь на старости лет фальшивые документы стряпать?

— А почему же нет? В данном случае — даже с удовольствием.

— Так что, по-твоему, и звезды не надо?

— Какой звезды? — удивился доктор.

— Какой! Будто ты не знаешь. Я вчера опять прочла в газете, что по *их* закону эти... несчастные люди уже с шестилетнего возраста должны носить желтую звезду на верхнем платье... и тем, которые не подчинятся, грозят... ну, Бог знает чем... А так как ей уже седьмой год...

— Ни за что! — воскликнул доктор, грозно задирая седую бородку. — Ты что, с ума сошла? Хочешь, чтобы она тоже погибла?

— Ну, как ты можешь! — искренне обиделась жена. — Я люблю эту девочку, как родную внучку. Но она же маленькая, ее никто не тронет. А если на тебя донесут, если тебя арестуют...

— Ни за что, — твердо повторил доктор.

Но ему стало не по себе: он знал свою жену сорок лет, — и знал, что повтореньем, зуденьем, настойчивостью она всегда добивалась своего.

Когда Мирочка проснулась, утренний свет чуть брезжил сквозь легкие занавески, — но сегодня он был недобрый, пронзительный, от него стало больно глазам и застучало в голове, Мирочка отвернулась к стене.

Она спала теперь одна в этой белой комнатке, чужой детской, где на стене еще висели картинки, изображавшие смешных зайцев и утят. Но дверь в соседнюю комнату на ночь не затворялась. «Если тебе нездоровится или что-нибудь нужно — не стесняйся, позови», — сказали ей. Она никогда никого не звала.

В ушах у нее стоял шум, неумолчный грохот волн, уже не синих, а зеленых, грозных, как в тот день, когда они уезжали из Сен-Мало. Как они больно бились о берег, захватывало от них дыхание... Незаметно для себя она канула в темный душный сон; проснулась, когда над ней склонилось румяное лицо с черными усиками и тройным подбородком: «Как ты заспалась сегодня, моя девочка. Вставай скорей, пора завтракать».

Ей не хотелось есть, тошнило и кружилась голова, но она через силу проглотила кусочек хлеба с маслом, а другой кусок спрятала за щеку, как часто делала, чтобы к ней не приставали. «Ну, пойди теперь в сад, побегай», — сказала жена доктора. Она вышла, медленно пошла по главной аллее к самой большой круглой клумбе; из лоснящейся черной земли там и сям, как Мирочке было обещано, вылезали нежно-зеленые

носики тюльпанов. Она присела было поглядеть на них, но тут по спине и затылку пробежал острый холодок, и она поднялась, отвернулась, как будто ей не было больше дела до ростков, обещавших весну.

Весь этот день она вяло переходила с одного кресла на другое; играть ни во что не хотелось, все болело, ломило голову и спину, но говорить об этом не надо было: как все дети, она была очень скрытна и умела хранить секреты. Впрочем, взрослые были заняты: доктор читал в кабинете и курил трубку тайком от жены, а та возилась на кухне.

Все обнаружилось за обедом, когда жена доктора впервые за весь день внимательно на нее поглядела: пылающие щеки, раскрытые губы, слишком блестящие глаза. «Что с нашей девочкой? Она больна?»

Но она не умела, как мама и няня, распознавать жар, прикоснувшись губами ко лбу. «Надо ее уложить, смерить температуру».

— Горло болит, — пробормотала Мирочка.

— Простудилась, конечно, — сказал доктор, — ничего удивительного, теперь март, еще холодно, а она все выбегает в сад без пальтишка. Дай ей аспирина и липовой настойки погорячей. К утру пройдет.

Но наутро температура с тридцати девяти вскарабкалась до сорока с лишним. Мирочка лежала навзничь с закрытыми глазами, не то дремала, не то не хотела отвечать на вопросы. «Няня, иди скорее, — вдруг хрипло позвала она. — Осторожней, няня, волны бегут все быстрее, все выше, сейчас зальет»...

Встревоженный доктор выслушал ее, постучал по спинке, потом перевернул, и она увидела вблизи блестящие выпуклые стекла, которые раньше ее пугали.

— По-видимому, какая-то инфекция, — сказал он, — но я затрудняюсь определить... Позвони Мартэну, пусть немедленно заедет.

Деревенского доктора Мартэна не было дома: вызвали к какому-то больному. Да, да, конечно, ему скажут, как только вернется.

Мирочка лежала с закрытыми глазами и слышала в полузабытье, как жена доктора спускалась и, охая, опять поднималась по лестнице; и каждый тяжелый шаг грохотом отзывался в больной голове. «Ну, как тебе, моя дорогая, не лучше?» Но ответа не было.

Звонок в передней и заглушенный разговор до Мирочки не дошли; она пришла в себя только, когда молодой доктор со строгим, худым лицом вынул ее из постельки и посадил к себе на колени, — хрипло дышавшую, с трудом ловившую воздух. «Ложку», — отрывисто приказал он и навел свет карманного фонарика на вздувшееся изнутри горло.

— Белый налет, — сказал он нахмурясь, — похоже на круп. Разве ей не делали прививки? Ведь было обязательное постановление...

— Ах, ее бедным родителям, верно, было не до того, — горестно вздохнула жена доктора. — Анри, как же ты не подумал?

Тот только руками развел.

— Сейчас позвоню в больницу в Санс, — сказал доктор Мартэн, — если у них есть сыворотка, пришлют завтра с автобусом. В котором часу он приходит? В десять? Поздновато. Я заеду опять завтра утром. Пока кладите ей компрессы на горло, а главное — чтобы она не лежала плашмя и не спала, не то, если нахлынут пленки, — рискует задохнуться. Понятно?

— Будьте спокойны, доктор, я сама с ней всю ночь...

— И я тоже, — сказал старый доктор.

— Ну, тебе ни к чему, зачем нам обоим переутомляться? Завтра ты меня сменишь. Придется еще немало ухаживать за ней.

«Не спи, моя девочка, не спи. Вот так, у меня на коленях, тепло закутанная, — увидишь, завтра тебе будет лучше... будет лучше... Положи головку мне на плечо. Что тебе рассказать, чтобы ты не спала? Знаешь, когда моей дочке было десять лет, она тоже серьезно заболела, брюшным тифом, и я, бывало, сидела у ее постели по ночам, — надо было каждые три часа давать ей лекарство. Не спи, моя девочка, открой глаза, посмотри на меня. Какие у нее глаза, синие-синие... Ну, конечно, тогда у меня было больше сил, я была моложе... Совсем не хотелось спать. Но мне и теперь не хочется, — это просто усталость. Слишком много было сегодня волнений, слишком много бегала по лестнице, переутомила сердце. Что делать, за чужого ребенка еще больше волнуешься, чем за своего... Не спи, моя дорогая. Только половина двенадцатого, как медленно идет время... Может быть, лучше посадить ее на постель, обложив подушками? Но у меня на коленях ей теплее, — и я не дам ей заснуть. Не спи, моя девочка, слышишь? Не позвать ли Анри, чтобы он со мной посидел? Как ей трудно дышать... Не лучше ли?...»

Она проснулась от ощущения холода и тишины. За окном стояла сырая мартовская ночь. Дрова догорали в печке, но дрожащий красный отсвет ложился еще на пол. Холод шел на старую женщину от окна, от каменных стен, от отяжелевшего маленького тела, от запрокинутой головы на ее локте.

— Анри! — в ужасе закричала она.

II

ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

ПАРИЖ В ОЖИДАНИИ

Дневниковые записи 1944 года.

2 июля 1944

С 6-го июня прошел почти месяц, и Париж ждет довольно спокойно, даже удивительно спокойно для Парижа, их прихода и освобождения — чужими руками. На днях рано утром позвонил по телефону У.: убили Ф. Эрио — и дал все точные подробности. Так настроены за эти годы, что этой смерти надо радоваться, — как и тому, что где-то убито под Витебском 21 тыс. немцев, а под Шербургом — еще столько-то, а от Берлина остались одни развалины. Зверства неслыханные везде — война 14-го кажется идиллией, робкой пробой. Эта зима была оживленнее предыдущих. Много у нас народу перебывало. Старик Д. и сын его и молодой L. и V. — всех укрывали, оставляли ночевать, разговоры велись поздние все на те же темы. Продовольствие отошло на второй план, — как-то я справлялась, несмотря на трудности (правда, были и посылки из Дип.).

С продовольствием после высадки обстоит худо — ничего нет в Париже. Мяса не дают, масло (на черной бирже) дошло до 1000, зелени нет никакой кроме салата — 15 фр. головка. Ренэ ездил на велосипеде за 30 км, привозил салата, горошка 20 кг. по 25 фр. Газа в день - $1^1/2$ часа. Электричество после 10 часов вечера. Но все это пустяки, можно приспособиться. [...]

[...] буду каждый день записывать о парижском ожидании. Душный грозовой день с низкими облаками. Мы в этом году никуда не поедем.

4 июля.

Вчера получили сведения из Dun-les-Plages, куда мы ездили летом 42 и 43 гг.: ворвались «варвары», 3000, в деревушку с населением в 40 человек, женщин и детей загнали в подвалы, мужчин вывели на площадь и расстреляли у входа в церковь — 21 человека. Среди них наш друг мэр, его работник Paul (год тому вернувшийся из плена), булочник (сын в плену уже 4 года, жена умирает), владелец маленькой гостиницы. После чего бросили зажигательные бомбы. Все сгорело, на месте домов развалины.

Мы с Ивиком должны были уехать туда 10 июня, но не уехали из-за высадки. Сухие факты. Это произошло в прошлый понедельник, но только вчера пришло письмо — по оказии.

Закрыли несколько линий и много станций метро. Больше ездить никуда нельзя. — Такая давка, что опасно для жизни. — Выдают мясо. Моя менажка говорит: on a tué une vache à Paris, c'est pourquoi il y a de la viande...

Немцы, говорят, продают масло целыми грузовиками и дешево. 100 фр. кило. Моментально все расхватывают.

Русские прут как черти, вчера Минск, сегодня Полоцк. «Они первые придут», — сказал мне сегодня маленький «Коко», дегенеративного вида, с отстающими ушами, с ассиметричным лицом мальчик, бывший ученик Рено и начальник группы (о чем во всех подробностях все мне рассказал, в первый раз меня увидя). Они первые придут [пропуск в рукописи]. Тем другим действительно туго приходится в Нормандии. Еще месяц, два, три?...

Парижане настроены разно. Одна буржуазная дама мне говорит: «Это ужасно, я не могу поехать в мое имение под Бордо, c'est épouvantable». Наше положение трагично, между двух огней: эти... и те, которые бомбардируют наши города. Каждый вечер она отправляется с мужем ночевать в отель (живет на 5 этаже), так боится бомбардировок. Но таких сравнительно мало, и есть, именно среди женщин, замечательно мужественные.

9 июля.

Уже два дня — недостаток муки, и хвосты вытягиваются у булочных, из которых половина закрыта. Реакция: "Il ne manquait plus que cela". "Quand le pain manque, c'est la fin de tout". Несмотря на это, я думаю, что без хлеба никто не остается. И настроение все же бодрое: сегодня взяли Caen, русские — Вильну (в который раз наша бедная Вильна переходит из рук в руки?) Были с Таней в кинематографе (La main du diable). Во время actualités публика вела себя очень сдержанно (похороны Henriot — только смешки, но подавленные). Quartier Latin полон веселой беспечной молодежи (на каникулы никто не уехал).

Продолжаются аресты, продолжается буйство и зверство немцев в провинции. Много говорят об ужасном поджоге и убийстве под Лиможем — женщин и детей заперли в домах отдельно и подожгли (Oradour), все заживо сгорели. В Tulle вешали людей на окнах собственных домов и т. д.

Страшно во Франции, и не только это: маленький Коко рассказал мне, как одного из его товарищей выдала полиции любовница-проститутка. «Inutile de dire, — прибавил он с хитрым видом, — что с нею потом мы сделали». — Вот эта привычка к убийствам и даже гордость и уверенность, что это геройский подвиг, эта идея, распространенная среди лучшей части француз-

ской молодежи, — очень страшное явление. Войной дело для Франции не кончится.

«Говорят», что немцы начинают эвакуацию: из Majestic вывозятся архивы в Нанси. «Говорят», что на собрании парижской прессы дан приказ подготовить общественное мнение к оставлению Парижа. Даст Бог, они скоро уйдут. Я все эти 4 года мечтала поговорить откровенно с каким-нибудь умным наци, доказать им их вред и жестокую бессмысленность всего, что натворила у нас в Европе Германия.

Говорят еще, что американцы были неприятно поражены, увидев в Нормандии краснощеких, упитанных крестьян. И в Париже умирающих с голода они не найдут: но больно мне смотреть на детей, на худые ножки особенно, на серьезные глаза, даже часто у самых маленьких. (Не говорю о своем, потому что за него у меня всегда сердце болит).

17 июля.

Выдают теперь на человека по фунту овощей в неделю, т.е. на один обед. Черная биржа процветает. Конечно, и где люди не сойдутся, сейчас разговоры об еде и ценах.

Русские летят галопом — уже и Гродно, и Ковно, на днях будут в Германии.

А наши союзники ведут войну «научную», с наименьшим риском для себя, с наибольшими потерями для Франции. Нет ни одного города (кроме Парижа), не разрушенного или частью, или совершенно. От Нормандии останется одно воспоминание. Письмо от Терезы из Flen: города больше нет, все улицы одна за другой сметены, из 5 тысяч жителей 300 или 400 найдут остов дома. Остальные и места не увидят. Она сама оглохла от бомбардировки.

Письмо из Coutances: не только все разрушено и 1000 человек убитых, но даже некому из разрушенных домов вытащить трупы (или может быть раненых). Так это и остается sous les décombres. [...]

Погода наконец летняя, чудесная. Если они и теперь не продвинутся, то нечего надеяться на окончание до осени.

19 июля.

За хлебом хвосты все растут, бедный Кроха стоял сегодня 45 минут и пришел очень недовольный.

Я ужасно устала, кашляю и худею.

Наконец они взяли St-Lô, будут верно неделю отдыхать. Слушала на днях американского генерала, который бодро и развязно сказал: «Это мне напоминает 17 год, когда мы пришли во Францию, чтобы вернуть ей свободу». И теперь, как тогда: "Here we are". После чего разрушается город или деревушка. Если б это было у них в Канзасе или в Пенсильвании: как бы они взвыли. Немцы надеются на сепаратный мир с Россией.

24 июля.

Покушение на Гитлера 20-го. В Германии беспорядки. В то утро все уже знали, хотя нет радио с 3 часов утра, — и ждали немедленного конца войны. В Нормандии все то же. Со вчерашнего дня — нет электричества до 11 вечера — а в 9½ уже темно и мы сидим, сумерничаем. [...]

Вчера был (и ночевал) старик Д., рассказывал похождения в 17 году в Румынии — как арестовал епископа-шпиона. Днем ходила с детьми Жаком и Жаклиной за мясом — пешком на Porte d'Ivry, нет метро.

27 июля.

Остались только несколько линий и отрезков метро, и давка такая, что едва живая выбираешься. Но

парижане молодцы — все у них отняли — и газ, и электричество, и метро, и еду, а они ne s'en font pas, во всяком случае вида не показывают, русский фронт в 1500 км и прут от Нарвы до Львова. А наши в Нормандии ни с места. [...]

Ночевал вчера молодой Л. Спит как сурок с 11$^1/_2$ до 10, не добудишься. Был в Швейцарии, границу переходил — 3 км — и чуть не поймали его патрули с собаками. Набрался страху. Хороший, смелый, умный мальчик — 23 года, идеалист, непреклонный и твердый, в России был бы коммунистом, в Германии наци. Здесь в «сопротивлении». [...]

Если до 15 августа ничего не произойдет решительного, то может затянуться и на зиму. Тогда, мне кажется, я не выдержу. Все ходят слухи о сепаратном мире с Россией, распускаемые немцами. Немцы продают бензин на дорогах в Париж, а потом — из пулемета в собственные грузовики...

1 августа

Вот уже и август, долго ли еще? Произошел все-таки сдвиг: в Нормандии американцы прорвали немецкий фронт, взяли Coutances et Avranches, может быть будут теперь серьезные успехи. А в России дела блестящие, взяли Белосток, Митаву, прут на Восточную Пруссию, бьются под Варшавой. Как мне хочется в Россию, несмотря на Сталина: слушала их песни по радио: текст бездарный до тошноты, но мелодия, но голоса! [...]

Метро опять действует, как прежде: электричество с 10 часов — немцы нас балуют.

6 августа.

2 месяца прошло с высадки. Но за последние несколько дней столько перемен, что можно ожидать решительной развязки: американцы уже в Ренне, в

Бресте, под Сен-Мало, Сен-Назер, англичане тоже пробились, говорят, недалеко от Алансона.

11 августа.

Наступает решительный момент: американцы взяли Шартр и теперь уже в 73 км от Парижа. Могут быть здесь уже в понедельник или вторник. Вот теперь догадкам раздолье: будет бомбардировка, не будет. [...] немцы эвакуируются (это правда, сами видели), немцы строят укрепления на Орлеанской дороге и т. д. и т. д. Обывательские рассуждения: “Pourvu qu'on ne touche pas à Paris et surtout au 3^{me}“.

Сопротивление действует вовсю: готовятся со страшной поспешностью (конечно, ничего не готово). Третьего дня Ренэ с секретаршей всю ночь напролет работали — на картах размечали учреждения, которые надо будет занять. [...]

Очень нервный момент — и возбуждение, и страх, и радость.

Наряду с этими большими событиями мои личные и гораздо важнейшие горести: Ивик: бронхит затянулся, крапивная лихорадка. Хорошо бы его в сентябре отправить на дачу.

Стоит ряд безоблачных, очень жарких, безветренных дней. Радио только от 12-12 $^1/_2$, а вечером — от 10$^1/_2$.

13 августа.

По предсказаниям гадалок и прочему, ждали прихода американцев — сегодня, но не только не пришли, а еще видно поход на Париж отложен. Двинулись на север, т.е. в Нормандию, чтобы окружить там немецкие войска, что, конечно, со стратегической точки зрения правильно, но для парижан обидно. Впрочем, кто знает, какие еще сюрпризы нам готовят эти недели.

Шартр, кажется, еще вовсе не взят, зато взят Алансон. Немцы сопротивляются из последних сил.

Вчера была секретарша Ренэ, рассказала между прочим, что Лаваль и И. собираются в Париже ожидать союзников и изобразить «двойную игру». Опасно для де Голля. Не думаю, впрочем, чтобы эта комбинация прошла — они оба достаточно дискредитированы даже в глазах невинных американцев. Кроме того во всех освобожденных городах назначены префекты de la résistance.

Метро больше совсем нет — до вторника. Газа — 1 час вечером, et encore! Выходить после 11 не разрешается. Продовольствие совсем плохо, — это начинает меня беспокоить серьезно, т. к. у Ива все крапивная лихорадка и чем его кормить — не знаю.

Дела сопротивления: сын старика Д., молодой, очень красивый и эффектный, карьерист и откровенный, наивный эгоист. Ночевал он у нас зимой, жил две недели, обедал и прочее. Очень мы за ним ухаживали. [...]

Уже двенадцать дней бьются за С-Мало. Проклятые немцы понастроили там за последние 4 года укрепления и засели в них, отбиваются. Как долго еще и для чего? Из дикого фанатизма и злобы. Как бы то ни было, С-Мало будет разрушено совершенно, ничего не останется от его знаменитых валов эпохи корсаров, от узкого, тесного города, от дома и могилы Шатобриана на острове. И от Лориан (Lorient) ничего не осталось. Шартр основательно разрушен тоже, все места, где мы жили, за 10 лет исчезнут; не разыскать воспоминаний.

14 августа.

Рассказывают, что белый американский автомобиль видели сегодня в городе: министры приехали будто в Hôtel de Ville. Рассказывал еще пьяный уличный торго-

вец, что будто сам встретил такой автомобиль, американец сказал ему "Veux-tu une sèche?" и дал папиросу. Все очень веселились, что американец говорит на argot.

17 августа.

Ça s'est précipité. Третьего дня наш друг Z, которого отправляют на Восток, говорит, что получен приказ Гитлера: Париж защищать всеми возможными способами. Немедленная паника в кругу знакомых.

Вчера: закрыли метро окончательно. Газ закрывается везде до воскресенья — все будет закрыто. Начинается выдача soupe populaire с понедельника. Электричество от 10^1/2 до 12. (Но на самом деле от 11–12).

Третьего дня высадились союзники на Ривьере. Взяли Cannes и несколько курортов. Собираются соединиться с Северной армией.

В Сен-Мало еще сопротивление гарнизона. Сегодня, по газетам, бьются в Шартре и Dreux. Парижане держатся очень хорошо: courage et bonne humeur. Только бы очень не затягивалась осада Парижа. (Погода изменилась: свежее, сырее, легче дышится [...]).

Злоба дня. Хлебные хвосты, чем дальше, тем длиннее и безнадежнее. Вчера часа три потеряла на очереди. Утром зря стояла в трех булочных — ничего не получила. Днем встала в 4 с соседкой Mme Mons. В пять открылась и были из последних получивших. По дороге домой купили салат за 35 фр. и поделили. Сегодня иду к маме пешком на St-Augustin, там буду с Ивом ночевать.

20 августа.

Много событий за эти два дня: третьего дня побывала у мамы, электричество дали только в 11^1/2 (я уже спала), узнали, что взяты Шартр, Dreux. Когда я вернулась домой, у всех настроение счастливое: сегод-

ня они будут в Париже. Домой от мамы шли пешком (метро больше нет совсем). Avenue de l'Opera запружена немецкими грузовиками, покрытыми ветками. На Place St-Augustin немцы — человек 20 — толкали сзади всяким краденым добром наполненный грузовик под иронические замечания прохожих. Лица у них были мало приветливые. Около Potin (Blvd. Malesherbes) охраняли двое улицы с пулеметами, и тоже морды пренеприятные и почему-то совершенно зеленые, как в 40 году. Итак, вернулась домой, — консьержка в радости объявила: газ не закроют, служащие газового общества бастуют. (Бастуют вообще все). Это еще не известно.

Вчера с утра ликование в городе: Париж — ville ouverte, немцы уходят. Появились везде флаги с croix de Lorraine [нрзб.]. Я присутствовала при поднятии флага garde républicaine: очень было торжественно, медленное поднятие флага, фанфары, пение Марсельезы. Была большая толпа и многие плакали. Все петлички расцветали вдруг розетками. Я тоже приготовила свой флаг, и дети — Жак и Ив — клеили что-то трехцветное. Вдруг, в полдень, картина переменилась. Флаги исчезли — прошел слух — немцы стреляют в окна. Гестапо еще здесь. Вернулся Ренэ, он был в префектуре, занятой Résistance, когда ее осадили немцы. Весь день до позднего вечера шла осада префектуры и весьма оживленная перестрелка на улицах. Весь Париж был у окон или у подворотен, кучками, но никто не двигался.

Ночью. В 12 страшные взрывы, один за другим, все это в сопровождении сильнейшей грозы.

21 августа.

Сегодняшние новости: будто бы une trêve между немцами и résistance, каждый остается на своих позициях, etc. Приблизительно 100 убитых и раненых. Вчера

днем мы были у V., идти было довольно жутко, пустые улицы, только в подворотнях испуганные лица.

Немцы, говорят, действительно уходят.

Те, говорят, — придут в среду. Пока я пишу, щелкают где-то выстрелы и гремит пушка, а где и что — непонятно.

25 августа. Пятница.

Они пришли не в среду, а в четверг, т.е. вчера вечером, в 9 часов были первые французы, дивизия генерала Леклер в префектуре. (Ренэ и Ислер там уже третий день работают и ночуют). Всю эту неделю ждали их с минуты на минуту, все целый день на улице и у ворот. Третьего дня начали строить баррикады — против нашей улицы тоже, на rue Monge, и это было великолепно — дети, женщины (и толстые коммерсанты) таскали мешки с песком, разворачивали мостовую, решетки деревьев, etc. Строили их против немецких танков (но отчасти, как я думаю, и для произведения эффекта на американцев).

Вчера целый день у Ислеров, там и обедали и ужинали. Все шла перестрелка — в нашем квартале засели на крышах милиционеры и стреляли куда попало. Ночью опять взрывы. Сегодня с раннего утра флаги союзников и наш (*и наш*) на всех стенах и балконах и с 9 часов началось прохождение танков и автомобилей (французской армии Leclerc'a). [...] Подносили им детей, бросали цветы, вино приносили, папиросы. Славные, загорелые, счастливые лица, и правда трогательное и прекрасное зрелище.

Эта война кажется как добрая сказка — после козней злого Кощея, он со всех сторон окружен, обезоружен, прижат к земле. Но на самом деле еще сильно сопротивление из-за страха и злости. Так кончается эпопея этого бесчестного народа.

После завтрака пошли с Жаклиной и Ивом (остальных потеряли) в префектуру. Перед нею огромная толпа: приводили немецких пленных в полицию, все шли с поднятыми над головой руками и вид жалкий. Толпа орала, плевалась и грозила им.

Обратно — rue Monge запружена американскими автомобилями и танками, все солдатики успели выпить и все здорово были веселые. Жаклина, с присущим ей naturel, с сотней по крайней мере перецеловалась. Все они целовали девочек, дарили папиросы, шоколад — стояло искреннее веселье, немножко, немножко уже вырождавшееся в разгул. Я тоже чьи-то румяные загорелые щеки поцеловала, не без удовольствия. Поговорила с несколькими из них по-английски, узнала, что война скоро — через месяц — кончится...

Вечером того дня — я пишу в понедельник — дети, Ив и Жаклина, притащили к нам к ужину молодого американца, 21 года, из Бостона. Славный, белокурый, загорелый мальчик, очень хорошо держался за столом. Кое-как сговорились по-английски — рассказал, между прочим, что война между Россией и Америкой неизбежна. Дали нам в тот вечер электричество, но немцы, уходя, взорвали станцию и теперь только 1/2 часа в день — от 10-10¹/2.

Когда ушел американец, я еще слушала радио по-французски, парижское. В 12 вернулся Ренэ совершенно навеселе, даже раздеться сам не мог — так их в префектуре накачали коньяком.

28 августа. Понедельник.

Все эти дни полны событий. В субботу днем пошли с мадам Ислер, Жан и Ивом к Notre-Dame, смотреть на de Gaulle и генералов. Толпа многотысячная. Пролезли в скверик рядом с Notre-Dame, дети влезли высоко на стулья и решетку сквера, мы их поддерживали. В ту

минуту, как de Gaulle подошел к собору, — началась стрельба из пулеметов со всех сторон, с крыш. [...] Мы с Ивиком побежали в сквер, паника стояла страшная. Примостились за мешками с песком, через полчаса все кончилось и мы вернулись домой. Но ночью — в $11^{1}/2$ — немцы вернулись бомбардировать Париж зажигательными бомбами. Ренэ не было еще дома, а мы с Ивом еще не спали. Слышу — грохот стоит страшный, не понять ДСА или бомбы. Я было потушила свет — так привыкла, что это "pas pour nous" — но бомбардировка все сильнее и совсем близко. Стала быстро одеваться, Ив даже не успел, только ботинки, пуловер на пижаму, — вдруг грохот ошеломляющий и в комнате посыпались стекла. Побежали скорее вниз в подвал, — оттуда в метро напротив. Вся улица наша засыпана стеклом, а на rue Monge — три дома разрушено и много поврежденных. В метро полчаса провели, подоспел Ренэ очень возбужденный, в толпе были раненые. У Ислеров окна выбиты, посуда перебита, но мебель не пострадала. Они у нас ночевали. Поднялись опять наверх, легли не раздеваясь — в 4 часа опять alerte и опять бомбы, но уж не в нашем квартале. Очень сильное и неприятное впечатление. Вчера — воскресенье. Допрос русских пленных в préfecture, но об этом напишу завтра.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ...*

Мираев — под таким псевдонимом они выпустили когда-то книжку стихов для детей.[1] Миша и Рая, Михаил и Раиса Горлины — кто из русских литераторов Берлина до начала 30-х годов, а позже в Париже, не знал этой «голубиной пары», как назвал их друг-поэт? Но минули десятилетия, сверстники их один за другим ушли навсегда, и, пожалуй, кроме меня, близко их знавшей, некому больше рассказать о жизни и гибели двух замечательных поэтов...[2]

Родители Михаила Горлина покинули Россию сразу после революции, когда он был еще ребенком, несколько лет провели в Англии, потом поселились в Берлине.[3] Казалось, у Михаила были все основания позабыть об оставленной родине, пустить корни в стране, давшей пристанище его семье. Но случилось обратное — чем дальше, тем сильнее увлекался он русской литературой, зачитывался и классическими романами XIX века, и теми книгами, что выходили в России позже — в сравнительно свободную эпоху.

Родители очень гордились рано проявившимися способностями Михаила, баловали его и оберегали, — пожалуй даже слишком — не позволяли сыну заниматься спортом, даже велосипед был ему воспрещен. Впоследствии это сыграло недобрую роль в его судьбе.

---

* Подготовка текста и комментарий А. Клементьева и С. Клементьевой. Благодарим д-ра Александра Борисовича Элькина и д-ра Сергея Асланова за ценные сведения о Р. Блох и М. Горлине.

Я познакомилась с Михаилом Горлиным на одном литературном вечере в Берлине. Как я записала потом в юмористическом очерке для нашего «Архива», Михаил обходил присутствующих и спрашивал: «Не пишете ли? Не сочиняете ли?» В сущности, так оно и было — ему очень хотелось объединить начинающих литераторов, устраивать встречи, говорить о поэзии, представлять первые опыты суду друзей.

Литературный кружок был вскоре основан, и Михаил стал его бессменным председателем. Кроме «начинающих» — среди них София Прегель, Юрий Джанумов, Борис Бродский, Виктор Франк — были там и люди постарше, начавшие печататься еще в России — Сергей Горный, Владимир Ирецкий. Бывали и авторы, успевшие уже, несмотря на молодые годы, заслужить известность — Владимир Набоков и Владимир Пиотровский (тогда еще не Корвин...). Заседания в кафе или на частных квартирах проходили весело, порою бурно. Допускалась строгая критика прочитанного, но, благодаря такту и остроумию Горлина, до ссор никогда не доходило, все заканчивалось смехом.

Кудрявый, круглолицый, сероглазый, небольшого роста, председатель наших собраний выглядел моложе своих лет, а было ему тогда не больше двадцати. Он учился в Берлинском университете, позже блестяще окончил курс, написав диссертацию на тему «Гоголь и Гофман».[4] Поэзия и литературоведение были его неоспоримым призванием, ничем другим он не мог бы заниматься. Уже в то время, несмотря на юный возраст, Михаил обладал немалой эрудицией.

А его будущая жена, Раиса Блох, высокая, худощавая, стремительная, была лет на десять старше.[5] Из России она приехала вместе с братом Яковом, основавшим в Берлине издательство «Петрополис».[6] Приехала на несколько лет позже нас, «первых эмигрантов», и,

вероятно, поэтому переживала разлуку с Петербургом, с родиной острее большинства моих однолеток. Мотивы тоски очень сильны в стихах из сборника «Мой город», увидевшего свет в Берлине:[7]

Мне был отчизной город белый,
Где ветер треплет вымпела
И оттого я звонко пела
И беззаботная жила <...>

Принесла случайная молва
Милые ненужные слова:
Летний сад, Фонтанка и Нева.

Вы, слова залетные, куда?
Здесь шумят чужие города
И чужая плещется вода...

Не идти ведь по снегу к реке,
Пряча щеки в пензенском платке,
Рукавица в маминой руке...

Это было, было и прошло,
Что прошло, то вьюгой замело,
Оттого так пусто и светло.

В Петрограде она окончила университет, стала специалистом по истории средневековья, в Берлине работала в архиве. Но больше всего ее привлекала поэзия. Первый сборник ее стихов, женственно-лирических, несмотря на боль и горечь, подчас в них звучащие, вышел еще в России.[8]

Познакомившись в нашем кружке, Михаил и Раиса быстро подружились: все сближало их, но особенно поэтический дар обоих и увлечение русской литературой и поэзией.[9] И, вероятно, ни той, ни другому не приходило поначалу в голову, что эта дружба сможет привести к прочному союзу на всю жизнь. Разница лет

и жизненного опыта была слишком велика, к тому же Раиса тосковала еще по любимому человеку, известному переводчику Михаилу Лозинскому, оставшемуся в России, а у Михаила были свои юношеские мимолетные увлечения.

И все же, еще в 1932 году Раиса писала о нем:

Я тебя люблю, как бабушка внучонка,
О твоей любви не спорю, не томлюсь,
Но лишь стоит мне припомнить голос звонкий,
Легче тишина и одолимей грусть...

И случилось так, что в 1933 году, после прихода к власти Гитлера, обоим пришлось оставить Берлин.[10] Они оказались в Париже и оба были одиноки — родители Михаила уехали в Польшу, брат Раисы и невестка — в Швейцарию. Это одиночество еще больше их сблизило, жить друг без друга, не деля разочарований и надежд, казалось уже немыслимым.[11]

Однажды Раиса спросила меня: «Как ты думаешь, будут здешние эмигранты смеяться над нами, если мы поженимся?» «Не все ли тебе равно? — ответила я. — Поговорят и перестанут. Ведь вы друг друга любите, вы будете счастливы — чего еще желать».

Когда они поженились, немало было толков в русском Париже, многие недоумевали: помилуйте, такая разница в возрасте, да он и на вид еще совсем мальчик. Но на деле получился отличный брак, — никогда между ними не было ни споров, ни недоразумений, и счастье их еще ярче засияло, когда через несколько лет родилась у них прелестная девочка, Дора.[12]

Особенность этого брака была в том, что роль главы семьи выпала на долю Раисы: это ей пришлось разыскивать квартиру, подписывать деловые бумаги, добиваться разрешения на постоянное жительство во Франции.

«Что поделаешь, — говорила она мне, и вздыхая, и улыбаясь, — ведь у Миши нет ни капли практического смысла».

И все же именно Мише удалось скоро найти интересную работу. В Париже, благодаря рекомендации берлинского профессора Фасмера, он познакомился с Андрэ Мазоном, профессором русской литературы в Сорбонне. Тот вскоре оценил кудрявого мальчика, с таким увлечением говорившего о русской поэзии, и Михаил стал секретарем Славянского института при Сорбонне. Тогда же Михаил начал собирать материалы для магистерской диссертации.[13] Андрэ Мазон заинтересовался уже первой его диссертацией и другими ранними работами (среди них был, помнится, остроумный набросок, теперь бесследно исчезнувший, как и многое, созданное Горлиным, — придуманное им окончание гоголевского «Утра делового человека»).

Раисе же было не до научной карьеры, она заботилась лишь о том, чтобы прокормить увеличившуюся семью. Ведь кроме Дорочки была еще и старая русская няня, чуть ли не последняя представительница исчезающего племени, — старушка весьма норовистая, но за ребенком прекрасно ухаживавшая. И Раиса бралась за любую работу — переводила, давала уроки, брала машинописные работы. Писала она, когда удавалось их пристроить, исторические статьи. У меня сохранилась одна из них, помещенная в специальном журнале фармацевтов, — «Аптека в эпоху Карла Лысого».[14]

Но и поэзия их не покидала. В Берлине Раиса выпустила сборник «Мой город», а Михаил сборник «Путешествия», кроме того они участвовали в двух сборниках берлинских поэтов в 1931 и 1932 годах. Продолжали они писать и в Париже.[15]

Если Раиса оставалась верна заветам классической поэзии, то Михаил пытался найти свой путь, свой ритм,

свои темы. У него был особый, созданный им мир, его привлекала фантастика. От рифм и размера он часто отказывался. Характерно для него стихотворение «Шнурренлауненбург»:

Когда-то в детстве, начитавшись Гофмана и сказок,
Я рисовал красными чернилами, чтобы было покрасивее,
Веселый несуществующий городок Шнурренлауненбург.
Потом прошли года.
Я забыл, я совсем забыл про него,
И сегодня вдруг вспомнил снова.
Как ясен он передо мной! Выйду и пойду бродить по его улицам.

Но были у него и другие стихи, тоже полные фантастики, но облеченные в иную форму:

Я сам себе совсем не верю,
Но птицы подымают гам,
Но ласковые ходят звери
По комнате, как по лугам.
<. . .>
Павлин расширил веер синий
И застилает потолок.
А день все тот же: легкий иней
Да солнечный прозрачный ток.

Все тот же город различаю
Я в чисто вымытом окне,
И ты мне наливаешь чаю,
Как будто это не во сне.

Мне думается, если бы не горькая судьба, так рано прервавшая их жизни, Раиса продолжала бы писать

стихи, но Михаил от поэзии понемногу отошел бы. Он смог бы стать ученым-литературоведом, — ведь его еще до начала «странной войны» известный лингвист Роман Якобсон звал в Вашингтон: «Приезжайте скорее. Вас ждет здесь работа». Но уехать не удалось.

Когда началась война и возникла опасность немецкой оккупации, Горлины, как это ни странно, не слишком волновались. Им казалось, что они хорошо знают немцев, ведь в Берлине у них осталось столько друзей. «Не может быть, чтобы они так озверели», — часто слышала я.

Когда мой муж был мобилизован, я уехала с пятилетним сыном в Сен-Мало, к недавно овдовевшему тестю. Это было в мае 1940 года. Раиса написала мне, просила найти в Сен-Мало квартирку для них, что мне удалось сделать довольно быстро.[16] Они опасались бомбардировки Парижа. Сначала Рая хотела перевезти только дочку с няней, но вскоре и они с Михаилом оказались в Сен-Мало. Говорили они мне о том, что надо бы крестить девочку, а то она уже взрослая... Сколько вспоминается мне прогулок по улицам старинного города, по пляжам. Сколько говорили мы об «эмигрантской поэзии», сколько возникало замыслов, планов на будущее... Все это прервалось немецким нашествием, оккупацией Франции. Мне навсегда запомнились немецкие солдаты, марширировавшие по улицам бретонского городка, — и их лица, эти лица казались зеленоватыми, вероятно, от усталости.

В Сен-Мало не было смысла оставаться, и все мы вернулись в Париж. Наступили тяжелые годы — небывалые трудности, общее уныние. Потом — возрастающие надежды на перемену к лучшему, участие моего мужа в тайной организации Сопротивления. Мне случалось не раз принимать дома людей, которых разыскивало Гестапо. И дни летели: по утрам — бесконечные оче-

реди, по вечерам — передачи английского радио, которое оккупантам почему-то не удавалось заглушить окончательно. С Горлиными мы по-прежнему встречались, все у них, казалось, было благополучно, — и вдруг беда. Пришла Раиса, бледная, взволнованная, — Мишу арестовали.[17]

Это была страшная и, надо сказать, нелепая катастрофа. Именно нелепая, ибо имелась возможность ее избежать. Раиса была знакома с полицейским комиссаром их участка, и он пообещал, в случае появления опасности, предупредить их. И сдержал слово — накануне ареста он послал Мише повестку: явиться на следующее утро в участок «со сменой белья»...

«Но, Рая, почему же он не уехал, не укрылся где-нибудь?» — спрашивала я. «Не захотел, боялся, что мне придется за него отвечать».

Наутро она проводила его в участок, — а там полицейские уже окружили толпу взволнованных, громко протестовавших польских евреев; у Михаила был польский паспорт, а у Раисы — советский.

В начале казалось, что нет оснований особенно отчаиваться. Арестованных увезли в лагерь Питивье, возле Орлеана. А так как французским полицейским, вероятно, не слишком приятно было стеречь по приказу немцев ни в чем не повинных людей, они охотно делали поблажки узникам — позволяли покидать лагерь, гулять днем по городу. И Раиса каждую неделю приезжала к мужу в Питивье, они заходили в городскую библиотеку, где Михаил работал с нужными ему книгами. Профессор Мазон, полюбивший его как родного, писал в это время Мише: «Пользуйтесь свободным временем, работайте над Вашей тезой».* До чего же наивны были тогда французы, даже ученые, несмотря на свой богатый жизненный опыт. Многие арестованные

* Т.е. диссертацией.

убегали из лагеря, раздобыв велосипед. Но Михаил на это не решился, да ведь и кататься на велосипеде он не умел.

Когда однажды Раиса подошла к лагерю, то увидела, что ворота широко раскрыты, а лагерь пуст.[18] Узнавший ее сторож смущенно ответил, что немцы еще утром вывезли всех арестованных. Увезли в Германию; но он не знал, куда именно.

Какую страстную энергию проявила тогда Раиса, пытаясь спасти мужа.[19] Две недели спустя она пришла к нам, показала фальшивый французский паспорт. Сказала, что едет с Дорочкой в Швейцарию, что брат Яша ей поможет, что, живя там, ей легче будет хлопотать за Михаила. Я просила ее быть осторожней, не попасть немцам в руки. «Я на Бога надеюсь, — отвечала Рая, — ведь нельзя же мне не знать, где Миша, что с ним».

Еще она рассказала, что в последнее время, уже в лагере, Миша снова начал писать стихи: «Чудесные, лучше, чем все прежние».[20] Но она не успела взять их. Эти стихотворения исчезли...

То была наша последняя встреча с Раисой. Она действительно уехала с дочкой, но по дороге Дорочка расхворалась, появился сильный жар, стало больно глотать. Раисе пришлось остановиться в приюте для беженцев; позвали врача, — но было уже поздно. У девочки оказался дифтерит, и она умерла на руках у матери.

Свод торжественный, купол полный
Птичьим щебетом, Божьим звоном,
И горячего ветра волны
По кудрявым сбегают склонам.

До реки, до травы высокой,
Незабудковой, бирюзовой,
Где над девочкой синеокой
Смерть насыпала холмик новый...

Преодолеть горе она была не в силах, ведь Дорочка стала ее единственным утешением, единственной радостью:

...Тихо кругом и сонно,
Что же который раз
Сердце неугомонный
Страшный твердит рассказ,

Страшный, неумолимый,
Неодолимый бред,
Что все прошло уже мимо,
Что ничего уже нет.

Но ведь оставался еще Михаил, о котором она ничего не знала, и, отчаявшаяся, измученная, она продолжала свой путь.

А на швейцарской границе ее задержали — фотография в паспорте показалась чиновникам подозрительной. После всего пережитого Раиса так похудела и изменилась, что выглядела на много лет старше. И швейцарская пограничная охрана, как ни горько об этом сказать, выдала ее немцам.

На этом заканчиваются сведения о судьбе Раисы Блох. Впрочем, нет, сохранилось еще последнее ее письмо, выброшенное из вагона поезда, увозившего ее из Парижа в Германию, и кем-то подобранное и отправленное по адресу. Так в последний раз прозвучал ее голос.[21]

О ней мы больше ничего не узнали. Потом мне сказали, что ее увезли в Дранси. А Михаил, по слухам, был убит на соляных копях Силезии. Об этом я стараюсь не думать. Слишком страшно мне представить себе друзей молодости, поэтов, не приспособленных к житейским будням, в такой бесчеловечной обстановке.

Но они ушли не бесследно. О них осталась память, их книги: сборники стихов, научные статьи, выпущенные недавно стараниями профессора Мазона отдельным томом, в серии трудов Славянского института. Вышел также и стихотворный сборник двух удивительных поэтов — он был издан в 1959 году группой близких друзей: С.Ю. Прегель, художницей Ниной Бродской и мною с помощью того же неутомимого Андрэ Мазона, который при нашей последней с ним встрече сказал мне: «Гибель Михаила Горлина — одна из самых больших горестей моей жизни».

Комментарий.

[1] В письмах к своей университетской наставнице — Ольге Антоновне Добиаш-Рождественской, хранящихся в Отделе рукописей Публичной библиотеки в Петербурге, Раиса Блох постоянно упоминает о работе над книжками для детей. Так, 9 января 1931 года она пишет: «Живется мне все так же. По вечерам пишу сказки. За них платят еще меньше, чем за стихи, а возни с ними больше. К февралю все должно быть готово. [...] Хожу по снежному Берлину, смотрю на витрины, где все распродается, и думаю, что жить все-таки лучше, чем не жить, даже если ничего хорошего и не случается, — и потом придумываю всякие размеры и строфы, какие раньше мне никогда не приходили в голову»; 25 января 1931 года: «Сдала последнюю детскую книгу: рассказ про курочку Белянку, которую хотели расколдовать при помощи зонтика»; 27 марта 1931 года: «Вышло пятнадцать детских книг. Жалею, что не могу прислать, хотя впрочем книги плохие, безвкусные»; 3 августа 1931 года она пишет, что вместе с М. Горлиным сделала приложение к детской книжке о Максе и Морице и «еще две детских книжки (на этот раз на родном языке)». Всего за годы жизни в Германии Р.Блох и М.Гор-

лин написали несколько десятков детских книг в стихах и прозе.

2 Евгения Каннак несколько раз записывала в свой дневник краткие воспоминания о Раисе Блох и ее муже. 15 апреля 1944 года она писала, по-видимому впервые, краткие заметки о тех, кто встречался ей в годы жизни в эмиграции. Эти записи должны были стать материалом к задуманному ею автобиографическому роману, который так и не был написан:
«15 апреля 1944. Прежде чем начать писать роман, запишу то, что знаю о Раисе (о романе еще ничего точно не знаю. Даже не знаю, на каком языке его писать — ни от своего ли имени). [...]
Она выросла в СПб. — семья еврейская и культурная, набожная и либеральная. Об отце я ничего не знаю. Брат Яша — некрасивый, маленький и лысый, типично еврейский, очень самоуверенный, остроумный и малоприятный. У него потом было издательство Петрополис в СПб, в 20 гг. — в Берлине. А Рая была высокая, неуклюжая и некрасивая девочка, с толстыми руками, без запястий и без щиколоток, черные гладкие волосы, нос утиный, свежие черные глаза. Уже тогда была восторженна так, что другим бывало неловко. Очень была способной, особенно к языкам. До 9 лет жила дома и ничему не училась, едва умела читать. Потом поступила в Таганцевскую гимназию, всегда была первой, особенно по истории, литературе. Совершенно немузыкальна. После гимназии попала в университет на исторический факультет; учительницей ее была Рождественская. Выбрала специальностью Средние века. Была оставлена при университете. [...]
Революция. И она таскала по снегу сани с академическим пайком, сидела в тюрьме с Леночкой, женою брата. Выпустили. Но важнее было то, что в университете она полюбила Лозинского — молодого доцента и поэта. Об этой любви я ничего не знаю; знаю только, что Рая считала себя (или была?) его невестой, и, когда в 1922 году она с братом и невесткой уехала в Берлин — якобы в

командировку* — эту длинную, безнадежную любовь она увезла с собой и ею жила и мучала себя очень долго, лет десять, пожалуй, я думаю, до тех пор, пока не встретила Мишу.

Миша Горлин — очень маленький, пухлый, с мелкими чертами лица и вьющимися довольно светлыми волосами. Глаза у него хорошие — серые, умные (!), с длинными ресницами; он был пухлый, как девочка, и когда однажды под Берлином они вместе (в компании) поехали купаться, мальчишки помирали от смеха, глядя на его пухлые руки и круглые плечи. Руки были красивые, с длинными пальцами, но часто грязные и слишком длинные. Он был всегда небритый. [...]
Он был на 11 лет моложе и на голову ниже ее. В остальном они прекрасно дополняли друг друга: он был растяпа и лентяй, она — энергичная и твердая, упорная».

* Р. Блох выехала из Советской России в командировку как сотрудник Исторического института при Петроградском университете, где она работала научным сотрудником 2-го разряда. Помогла ей выехать О.А. Добиаш-Рождественская. В журнале № 2 заседаний Совета Исторического Института от 3 июня 1922 года читаем: « [...] 6. Предложение О.А. Добиаш-Рождественской о командировке заграницу научного сотрудника Р.Н. Блох с целью установить соглашение с соответствующими научными учреждениями по вопросу об издании материалов [...], хранящихся в Русских рукописных хранилищах, произвести фотографические съемки и сравнительные исследования некоторых групп средневековых миниатюр и приобрести путем обмена литературу в указанных областях исследования.
Постановили: возбудить ходатайство о командировании Р. Блох сроком до 1 октября 1922 г. С сохранением содержания». (Архив СПб отделения Института истории АН России, ф.193, оп.3, ед.хр. №3, лл. 25-25 об.).
В феврале 1923 года Р. Блох все еще числилась в командировке (ф.193, оп.3, ед.хр. №5, л. 73).

[3] Семья Горлиных выехала из России в 1919 году, и некоторое время они жили в Англии и Франции. Михаил родился в Петербурге 11 июня 1909 года. Отец М. Горлина был человеком весьма состоятельным, в России торговал лесом, и поначалу дела его шли очень хорошо даже в эмиграции. Горлины снимали большую квартиру в центре Берлина, где у Михаила, учившегося тогда в немецкой школе, часто собирались участники молодежного «Кружка тридцати» (в действительности же кружок этот не был велик и название ему было дано условно). В кружке, собиравшемся в дни, свободные от занятий, говорили в основном о литературе, поэзии, истории и почти никогда о политике. В этом кружке М.Горлин познакомился с Ириной Карсавиной, дочерью историка Л.П. Карсавина, которой в середине 30-х годов посвятил цикл стихотворений «На отъезд Ирины Карсавиной из Парижа», оставшийся неопубликованным.

[4] В Берлинском университете, под руководством проф. Макса Фасмера, Михаил Горлин подготовил и защитил диссертацию по истории литературы: "N.V. GOGOL und E. TH. HOFFMANN", Leipzig, 1933 (Veröffentlichungen des Slavischen Instituts an der Freidrich-Wilhelms-Universität, Berlin). Одна из его работ этого времени посвящена творчеству Гете. См.: Zeitschrift für slavische Philologie, tomes IX und X, 1932-1933.

[5] Раиса Блох родилась 17 сентября 1899 года в Петербурге.

[6] Издательство «Петрополис» было создано в январе 1918 года в Петербурге (первоначально это была лавка, продававшая старые книги). В 1922 году было открыто его отделение в Берлине. В России деятельность издательства прекратилась в 1924 году. До середины тридцатых годов действовало берлинское отделение, а затем издательство переехало в Брюссель.

[7] Раиса Блох. «Мой город». Берлин. «Петрополис», 1928. 55 с. Выпуск этой книги был приурочен к десятилетию издательства «Петрополис».

[8] Р. Блох работала в известном изд-ве "Monumenta Germaniae Historiae" под руководством проф. Бракмана, близко знавшего О.А. Добиаш-Рождественскую. Относительно сборника Е. Каннак ошибается: Р. Блох не успела издать книги стихов в России.

[9] В 1934 году в томе LVI «Современных записок» Раиса Блох поместила стихотворение «Кружок поэтов», позже вошедшее в ее второй сборник «Тишина», вышедший в 1935 году.

Горькой человеческой тоскою
До краев мне душу напоя,
Знал ли ты, что нежностью такою,
Верностью такой отвечу я.

И сама я, к тени приникая,
Призраком себя заполоня,
Разве знала, что желанней рая,
Грешный мрак желанней для меня.

Двумя годами позже, Раиса Блох писала Е. Каннак: « <...> О берлинском периоде вспоминаем с умилением, в особенности, когда общаемся со здешними поэтами, которые, как люди и граждане, явление мало отрадное». (Письмо от 8.VIII-1936, частное собрание, Париж.)

[10] Р. Блох продолжать работать в издательстве при новой власти не имела возможности.

[11] Р. Блох и М. Горлин вступили в брак в конце 1935 года. 26 ноября Р. Блох послала О.А. Добиаш-Рождественской два уведомления о своем замужестве, второе — для М. Лозинского: «Наша фамилия — Горлин» (письмо от 26 ноября 1935 года). Вскоре они поселились в доме № 12 по улице Claude Lorrain, в 16-м парижском округе. Это их последний постоянный адрес.

[12] Об ожидаемом рождении ребенка сообщается в последнем письме Горлиных к О.А. Добиаш-Рождественской от

1.II-1936. Об этом же читаем и в первом из сохранившихся писем к Е. Каннак: « <...> Постараемся изготовить достойного товарища твоему сыну. Занимаемся этим усердно и надеемся к сентябрю закончить. Было бы очень весело, если бы они вместе гуляли и вообще устроили бы клуб поэтов en petit. Чувствуем себя все трое хорошо, ходим в Bibliothèque Nationale, где младший из нас порой ведет себя бурно и сильно брыкается».
В следующем письме она сообщает о рождении дочери в ночь с 8 на 9 сентября 1936 года: «Наша дочка Дора блондинка с серыми глазами, длинными ресницами и замечательным маникюром, который очень меня с Мишей удивляет и умиляет. Мы оба к ней относимся пристрастно, но и сестры в клинике и все знакомые признают, что это лучшее произведение Мираева. Я уже два дня дома. <...> 27-го приезжают Яша и Леночка знакомиться с племянницей». Ниже рукой М. Горлина приписано: « <...> Дора Михайловна родилась, как почти все в моей жизни, в последний момент; без пяти минут полночь. Со всем тем это — чудная девица». (Письмо от 20.IX-1936, частное собрание, Париж.)

[13] В 1937 году М. Горлин начал работу над диссертацией по теме: "La littérature moyenâgeuse en Russie à la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe", получив специальную стипендию.

[14] 22.XII-1933 Р. Блох писала О.А. Добиаш-Рождественской: «Сегодня вечером буду, например, служить переводчицей в Société des pharmaciens, куда приехал профессор-немец, говорящий по-французски», а 27.I-1934, в письме тому же адресату, она сообщала: «Занимаюсь <...> историей фармацевтики в качестве секретаря при журнале».

[15] См.: М. Горлин. «Путешествия», Берлин, «Петрополис», 1936. 40 с. М. Горлин и Р. Блох участвовали в сборниках молодых поэтов «Новоселье» и «Роща», вышедших в издательствах «Петрополис» и «Слово» в Берлине, каждый

тиражом в 400 экземпляров. Их стихотворные переводы на немецкий язык печатались как в периодике (см. например, Lloyd-journal, Russland-Heft, Berlin, 1932 p.75-76), так и отдельными изданиями (стихи М. Горлина). Переехав в Париж, они печатались в журналах «Встречи», «Современные записки», альманахе «Числа». В 1939 году совместно с Мирой Бородиной Раиса Блох издала сборник стихотворений «Заветы» (Editions Petropolis. Bruxelles, 1939, 70 p).

[16] Впервые Р. Блох отправила свою дочь с няней в Сен-Мало в начале октября 1939 года, благодаря помощи Е. Каннак. Отвез их Владимир Николаевич Лосский.

[17] Горлин был арестован 14 мая 1941 года.

[18] Из лагеря Pithiviers он был депортирован в Германию 17 июля 1942 года.

[19] Как нам удалось установить, в январе 1942 года Раиса Блох пыталась связаться со своим братом, который в то время работал в Office Secours Enfants, а его жена Елена Исааковна была директором в одном из детских домов этой организации. Сам же Яков Блох был директором-распорядителем целой сети подобных учреждений, и поэтому ему часто приходилось уезжать по делам в города Montpellier и Limoges. Постоянный же его адрес был: Jacques Bloch, Château Masgelier par Grand-Bourg, Creuse. Я.Н. Блох регулярно посылал сестре Secours familial, но, как следует из ее письма от 10 января 1942 года, из-за сложности переписки им не удавалось обстоятельно поговорить о возможной организации переправки М. Горлина из лагеря в безопасное место. Р.Н. Блох, по-видимому, так и не смогла встретиться с братом, который вскоре выехал в Швейцарию. После войны и до самой смерти Я.Н. Блох работал в Женеве представителем крупной еврейской гуманитарной организации.

[20] Еще 10 января 1942 года Раиса Блох писала Е. Каннак: «Он написал много новых стихов и пишет еще и все с

рифмами и очень занимательные. Надо тебе показать как-нибудь все это. Правда, он пишет иначе, чем раньше и лучше и убедительнее». (Частное собрание. Париж).

[21] Письмо это, хранящееся ныне в архиве Славянского института в Париже, было написано в лагере Drancy 20 ноября 1943 года и впервые воспроизведено на фотографии, помещенной в книге стихов Р. Блох и М. Горлина, изданной группой их друзей в 1959 году в Париже. См.: Раиса Блох. Михаил Горлин. Избранные стихотворения. Париж, 1959. Рифма. Издательство имени Ирины Яссен. 95 стр.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕОРГИИ АДАМОВИЧЕ

Бывает так: несколько лет подряд встречаешь человека, обмениваешься с ним приветствиями, банальными замечаниями, — и все сводится как будто к поверхностному и обреченному на увядание знакомству. А потом, оказавшись случайно вместе с ним у общих друзей, разговоришься, с возрастающим интересом его слушаешь, хочется все больше о нем и от него узнать, — и так зарождается что-то похожее на подлинную, пусть и кратковременную дружбу.

Так было у меня с Г. Адамовичем. Конечно, я читала и стихи его, и критические статьи, читала с увлечением, но сам он, всегда такой аккуратный, подтянутый, сдержанный и на редкость вежливый, — хочется сказать по-старинному «учтивый» — был мне вначале чужд. Впрочем, очень возможно, что я в его присутствии немного робела.

Но за несколько лет до его смерти, в конце 60-х годов, мне посчастливилось часто с ним встречаться, — сначала у Р.А.Татариновой, моей доброй приятельницы и соседки (мы с ней жили в одном доме), наделенной особым даром гостеприимной и веселой общительности, а потом Адамович стал приходить и к нам. И оказалось, что у нас во многом схожие взгляды, что он прост, наблюдателен и не лишен чувства юмора, и что с ним беседовать откровенно очень легко.

Помнится, раз после обеда у нас я стала демонстрировать для него на экране фотографии, привезенные из моей недавней туристской поездки в СССР: снимки не Бог весть какие, но все же: старые дома на Невском, набережная, памятники... Он смотрел молча, кивал головой, иногда говорил: Ну, конечно, узнаю, вот этот канал — так его и вижу — а вот мост — не помню, где же это? — Я неосторожно сказала: Вот и вам бы, Георгий Викторович, туда съездить, хоть на две недельки. — Он быстро ответил: Во-первых, меня туда не пустят. А потом — что я там найду? Одни могилы.

О себе он говорил мало, никогда ни на что не жаловался — не позволяла природная сдержанность, зато охотно рассказывал о прошлом русского литературного Парижа, с которым я была мало знакома, — и слушать его было всегда интересно.

Вспоминая прошлое, он порой жалел, что бывал слишком строг в своих суждениях о молодых писателях-эмигрантах.

— Вот, например, Цветаеву и Набокова я слишком поздно оценил. О Цветаевой я как-то писал, что ее творческие претензии в разладе с ее возможностями, а ведь это неверно: только потом я признал ее высокий душевный строй, ее исключительную силу. А набоковская проза казалась мне искусственной, надуманной, что ли, — и это тоже было несправедливо: он — мастер, каких у нас до сих пор не было: его слова приобретают особую гибкость, и вместе тяжесть, — а какая зрительная память, какая образность!

— Вы, значит, к старости подобрели, — сказал, смеясь, кто-то из присутствующих.

— Не думаю. Просто стал строже относиться к собственному мнению.

О русской литературе вообще, особенно о ее прошлом, — к настоящему он относился критически, в

будущее плохо верил — он говорил охотнее всего, стоило только коснуться этой темы.

Теперь, когда я перечитываю его «Комментарии», мне кажется, что я слышу его голос: его мысль течет свободно — и вдруг останавливается, сама себе противоречит, приходит не к намеченному выводу, а к другому, — особенно, когда речь идет о поэзии. «Поэзия в далеком сиянии своем должна стать чудотворным делом, как мечта должна стать правдой... Но с каждой написанной строчкой приходилось горестно убеждаться, что это недостижимо». Что же тогда делать? Отказаться от поэзии? Но и это невозможно.

По собственному его признанию, Адамович был человеком, «всю жизнь думавшим и писавшим только о поэзии», для этого он был создан, и, родись он в иные времена, верно о политике предоставил бы судить другим: до нее ему не было бы дела. Но в нашем веке от пережитого отвернуться нельзя: хочешь не хочешь, политика внедряется в наше сознание и управляет нашей жизнью. Адамович писал и о революции, о своем разочаровании в «народе-богоносце», и о том, как Октябрь, свершившийся во имя двух несовместимых понятий — свободы и равенства, — тем самым свободу уничтожил. Но в те годы, когда я с ним встречалась, он чаще всего возвращался к темам Второй мировой (на которую пошел добровольцем). Своих впечатлений и воспоминаний о ней он не мог преодолеть забвением: так глубоко поразили его жестокость завоевателей и особенно систематическое, тщательно организованное истребление евреев.

Помню, в одном из недолговечных эмигрантских листков, вышедших сразу после войны, он писал: «Что же это? Моего друга, поэта, удушили газом, а потом сожгли — а я буду по-прежнему писать в журналах о литературе, как будто ничего этого не было?»

Особенно запомнился мне разговор об антисемитизме, возникший на одном из вечеров у Татариновой.

Кто-то из присутствующих упомянул о погибшем в каком-то лагере Михаиле Горлине, молодом поэте и литературоведе, так много обещавшем и так мало успевшем сделать.

— Антисемитизм — не новая болезнь и, вероятно, неизлечимая, — сказал со вздохом Адамович, — а знаете, я на днях подумал: ведь и некоторые наши большие писатели были антисемитами. Они, может, и не виноваты: ведь что тогда знали у нас о евреях? Что все они лавочники, торгаши, да еще к тому же ростовщики, вообще — презренный народ. И никому и в голову не приходило, что все другие дороги были им заказаны, — даже земледельцами быть не позволяли. И все-таки, что греха таить... Начать с Пушкина: помните в «Скупом рыцаре» этого ростовщика-еврея, который намекает сыну рыцаря: неплохо было бы старика-отца напоить ядом, чтобы поскорее завладеть его наследством... «Как, отравить отца? И смел ты сыну?» Помните? И потом: «его червонцы будут пахнуть ядом, как сребреники пращура его»? Про Достоевского и говорить нечего, — его даже в письмах читатели упрекали в антисемитизме. Ну, и так далее. Даже деликатнейший Тургенев, и тот — особый рассказ написал, так и называется «Жид», про некоего Гиршеля, который родную дочь готов был за пару червонцев продать офицеру, — да к тому же оказался шпионом... Помните?

— Смутно что-то помню...

— Так перечитайте, сами убедитесь. А вот про Чехова ничего сказать нельзя — и в этом его большая заслуга: ведь он вырос в провинциальном Таганроге, в мещанской семье, и чего там только не говорили, верно, о жидах! Но он сам себя перевоспитал, отделался

от семейного влияния. Вот Чехов — наше утешение. Он — ну и, конечно, Толстой.

— Нет, насчет Толстого это не совсем справедливо, — сказала я, — ведь и у него попадается тоже...

И тут я впервые увидела рассерженного Адамовича. Он повернулся ко мне — мы сидели рядом на диване — глаза его гневно расширились и он резко выговорил:

— Это неправда!

Я уж и сама пожалела — зачем мне было его волновать? — но на попятный идти не могла.

— Нет, правда, Георгий Викторович... Я это прочла давно, и не помню даже, в дневнике или в письме, — но эта фраза меня поразила, и в смысле ее, в некоторых выражениях я уверена. «Грязная жидовка готовила в подвале бомбы на сильного, страстного человека...»

Это — о Гесе Гельфанд, члене Народной Воли, которая хоть бомб и не готовила, но хранила их на конспиративной квартире для последнего — к сожалению, удавшегося — покушения на Александра II. А ведь Толстой был, конечно, противником всякого террора, — и этого царя он уважал.

Адамович нахмурился и промолчал, а находчивая хозяйка перевела разговор на другую тему. Мне, повторяю, было жаль, что я об этой фразе упомянула, — ведь я знала, что для Адамовича Толстой был не только «вершиной русской литературы», но и высочайшим нравственным авторитетом, олицетворением правды и честности с самим собой — и с таким моральным его обликом моя цитата плохо вязалась. Но слово не воробей...

Не помню точно, когда состоялся этот разговор, — записей, к сожалению, я не веду, — может быть за год до путешествия Адамовича в США, куда его давно звали. Он рассказал нам, что врач, лечивший его от сердечного заболевания, ему этой поездки не запретил,

хотя и считал ее небезопасной: вероятно думал, что нравственное удовлетворение может иногда благоприятно повлиять и на физическое состояние пациента.

И, действительно, все сложилось, казалось бы, как нельзя лучше. В Нью-Йорке его радостно встретили друзья, — среди них были и прежние парижане. Литературная жизнь русского зарубежья была там богаче и живее, чем в Париже, после войны потускневшем и обедневшем: ведь многие друзья Адамовича умерли, — как Бунин или Алданов, — иные погибли в лагерях, как Бунаков, некоторые покинули Францию.

Темп нью-йоркской жизни его с непривычки ошеломил: на его выступления приходила многочисленная публика, его чествовали, приглашали на вечера, — и усердно уговаривали остаться: «На что вам Париж? Здесь вам будет легче и интереснее жить».

Но Адамович остаться не мог: слишком был связан с Парижем.

Вернувшись, он позвонил мне и долго рассказывал не только о тамошней литературной эмиграции, но и о Нью-Йорке, о том, какая там тяжелая атмосфера, — постоянные разговоры о воровстве, грабежах, нападениях, — вечером не решаются выйти на улицу, поэтому все литературные «вечера» происходят днем. И заодно поделился, смеясь, анекдотом: один приятель уговаривал его не хранить денег в чемодане, — непременно украдут, — «лучше сдайте их швейцару вашего отеля, — в его сейфе они будут в сохранности».

— Я совету не последовал, забыл о нем. И что же оказалось? Моего чемодана не тронули, а сейф взломали и все до последнего цента вытащили.

На прощанье сказал мне, что через два дня уезжает в Ниццу, к друзьям, как каждый год, — а по приезде непременно позвонит.

Но позвонил не он: позвонила С.Ю. Прегель: «Очень грустное известие: умер Адамович. Нет, он не страдал: вышел из комнаты, в коридоре упал — смерть наступила мгновенно».

В этих кратких воспоминаниях не следует, конечно, искать портрета Адамовича: они на это и не претендуют. Он был человеком очень сложным, — даже его близкие друзья уверяли, что существует «несколько Адамовичей». Мне хотелось только восстановить в памяти кое-что услышанное от него, отметить некоторые характерные черты человека, жившего поэзией и для поэзии.

«Русская Мысль» № 3253, 19.IV.1971 г.

ГОНЧАРОВА И ЛАРИОНОВ

Гончарова, Ларионов: эти имена неразрывно связаны в нашей памяти, как связаны они были между собой в искусстве и в быту, в продолжение всей их долгой совместной жизни.

Только что вышел, благодаря многолетним усилиям и настойчивости ученицы и друга Гончаровой, художницы Татьяны Логиновой, ценный сборник, посвященный их памяти.* В нем — подробная, основанная на документах биография, многочисленные воспоминания — друзей-артистов, учеников и почитателей — и ряд репродукций костюмов, декораций и рисунков. Собрать документацио о раннем периоде их творчества было нелегко; широкая публика была о нем мало осведомлена; теперь этот пробел восполнен.

Наталия Гончарова и Михаил Ларионов встретились в ранней молодости в Москве; они были однолетками — оба родились в 1881 году, оба одновременно поступили в Московское Училище Живописи, Ваяния и Архитектуры: Гончарова вначале училась скульптуре у Паоло Трубецкого, потом перешла к живописи; Ларионов был учеником Валентина Серова; оба в одно

---

* *Gontcharova et Larionov: cinquante ans à Saint-Germain-des-Prés.* Témoignages et documents receuillis et présentés par Tatiana Loguine. Ed. Klincksieck, 11, rue de Lille, Paris-VII. Paris 1971.

и то же время начали работать самостоятельно. С этих лет жизни их сплелись навсегда. «После первой нашей встречи мы, можно сказать, никогда не расставались», — скажет впоследствии Наталия Гончарова.

По темпераменту они были разными людьми. Все, знавшие Гончарову, отмечают ее скромность и сдержанность, ее молчаливую, загадочную, как у Джоконды, улыбку, ее мягкие движения, неслышную походку — и упорную настойчивость в работе. Ларионов же во всех воспоминаниях встает веселым, шумным великаном, неутомимым говоруном, легко увлекающимся, — но не чуждым русской ленцы. Не всегда совпадали и их творческие пути. Но, отличаясь друг от друга, они друг друга дополняли, и каждый из них за достижениями другого следил с волнением и сочувствием.

Их молодые годы совпали с временем расцвета духовной и творческой жизни России, с первыми пятнадцатью годами нашего века. До революции Россия, как никогда еще, была открыта всем веяниям Запада и Востока. В поэзии это был серебряный век, в изобразительном искусстве — эпоха перелома и новых исканий. В этом движении Гончарова и Ларионов сыграли ведущую роль.

Развитие их искусства шло параллельными путями. До 1909 года оно было фигуративным, близким народному творчеству. Затем наступает увлечение абстрактными формами; оба отходят понемногу от реализма передвижников. В выставленных ими в 1909 году картинах уже отражается новое течение, созданное Ларионовым: «лучизм»; это композиции из перекрещивающихся линий, красочных пятен, все пронизывающих лучей. В сущности, и это новое течение было

близко народному творчеству: как говорит Ю. Анненков в своей напечатанной в этом сборнике статье, «достаточно внимательно взглянуть на геометрические формы (народного искусства), на раскраску наличников и карнизов изб, на крестьянскую посуду и домашнюю утварь, чтобы убедиться, что это искусство, неправильно называемое «декоративным» и «прикладным», — прототип так называемого абстрактного».

Впоследствии Ларионов нередко возвращался к наивному искусству русского лубка, Гончарова же через импрессионизм и кубизм, икону и лубок пришла к «лучизму». Немногие знают теперь, как знамениты были уже в ту далекую эпоху оба художника в России: они считались самыми смелыми представителями передовой живописи. Ими были организованы выставки «авангарда», наделавшие в свое время немало шума, как, например, выставки «Бубнового Валета» или «Ослиного Хвоста». И уже в 1913 году Дягилев сказал одному французскому критику: «В России самый замечательный художник авангарда — женщина. Ее зовут Наталия Гончарова».

В судьбе обоих художников встреча с Дягилевым сыграла решающую роль, связав их на всю жизнь с театром и балетом. Следует ли об этом сожалеть? Если бы не Дягилев, быть может, Гончаровой удалось бы работать только для себя, писать картины, посвятить себя целиком личному творчеству. Но это увлечение балетом, декорациями, костюмами доставило обоим много радости и принесло им всемирную известность. Весной 1914 года, во время «Русского сезона», художественное оформление «Золотого Петушка» делается по эскизам Гончаровой, — и весь Париж восхищается яркостью ее красок, смелостью и оригинальностью рисунка.

В 1915 году Дягилев настаивает на приезде обоих художников в Швейцарию: Ларионов, раненный в

начале войны, был признан непригодным для военной службы. Прежде чем решиться на отъезд, Гончарова долго колебалась: влияние Запада представлялось ей поверхностным, она считала, что все новые течения в искусстве — и импрессионизм, и кубизм — пришли к нам с Востока.

«Восток и нежный и блестящий / В себе открыла Гончарова», — как писал Гумилев.

Но ее соблазняла парижская атмосфера и только там возможная свобода творчества. Ларионов же уверял впоследствии, что Дягилев послал ей пятьдесят телеграмм (цифра, надо полагать, несколько преувеличенная): «приезжайте немедленно», — и не получал на них ответа, пока не догадался прибавить: «конечно, с Ларионовым». На другой день они уехали.

Они, конечно, не подозревали, что расстаются с Россией навсегда. Но расстались ли они действительно с нею? Свою Россию они увезли с собой, она жила и в их искусстве, и в памяти, и во всем их обиходе.

В 1919 году они поселились в квартале С.-Жермэн де Пре, на углу улицы Ж. Калло, № 16, и прожили там без малого полвека. Все бывавшие у них сходятся в описании невероятного хаоса, царившего в этих комнатах, где рисунки, картины и бумаги лежали грудами прямо на полу, а то и под кроватями, и где книги были посетителям по колено, — что не мешало Ларионову, страстному коллекционеру, порывшись, находить все же нужный набросок или письмо. В этом пренебрежении к порядку, к установленным часам еды и сна сказывалась характерная русская черта. Русскими были и их гостеприимство и щедрость — они одаривали посетителей, чем могли, равнодушие к деньгам и к рекламе и всех поражавшая скромность. «Таких, как они, больше нет», — справедливо говорит их верный друг, Татьяна Логинова.

Военные и послевоенные годы были, вероятно, самой счастливой эпохой их жизни — эпохой непрерывного творчества и успехов, новых впечатлений, плодотворных путешествий. Знакомство с Испанией в 1916 году так поразило Гончарову, что к теме «Испанок» она возвращается в течение многих лет.

Ларионов же во время пребывания в Испании занят национальной темой «Русских Сказок», для которых он создает декорации и костюмы.

Не перечислить всех балетов, для которых Гончарова или Ларионов, а то и оба вместе, работали в эти годы. Назову только самые известные: «Садко», «Свадебка», «Жар-Птица», «Ночь на Лысой Горе», «Сорочинская Ярмарка», «Шут», «Лиса» — и сколько других!

Сохраняя свою неискоренимую «русскость», они совершенно естественно вошли в тесную связь с французской элитой, литературной, художественной, музыкальной.

Кого только не было среди друзей, их навещавших или завтракавших с ними в излюбленном ими ресторанчике "Petit St-Bênoit": Жан Кокто, Гийом Аполлинер, Блэз Сендрар, Макс Жакоб, Пикассо, Эрик Сати — и много других, артистов, художников, танцоров. Достаточно, кажется, просто перечислить всех, кто чем-либо выделялся в ту блестящую эпоху. Кроме работы для театра, они устраивали еще ряд выставок, писали афиши для балов в пользу артистов, помогали вообще всем, кто обращался к ним.

Смерть Дягилева в 1929 году нанесла первый удар этой счастливо сложившейся жизни. Дягилеву они многим были обязаны, — но и они, особенно Гончарова, дали ему очень много: введя на сцену театральный конструктивизм, они первые создали связь театрального искусства с передовой живописью.

Гончарова продолжала работать — с Сергеем Лифарем, с Брониславой Нижинской — и стала раз в неделю заниматься с группой учеников. Уважая индивидуальность молодых художников, она ни на кого не хотела влиять, но требовала, чтобы каждый пытался выразить только свое, неповторимое, и был упорен в работе. «Только личное, совершенно искреннее решение и почти физическое усилие позволят прорасти зерну, заложенному в нас природой», — писала она одной ученице.

А потом настала вторая мировая война: потухли огни, замерла художественная жизнь Парижа, многие друзья разъехались. И жизнь художников стала близиться к закату; после войны появились новые течения в искусстве, новые поколения артистов; о них стали забывать. Материальное положение их оказалось тяжелым: они не умели бороться за материальные блага. «Вот как живут передовые художники», — с горечью говорил Ларионов. Но Гончарова никогда не жаловалась.

В 1950 году Ларионов тяжело заболел: его поразил удар. А Гончарову ждала другая беда: ее тонкие, гибкие пальцы сковал артрит. Но, несмотря на это, она продолжала работать до последнего дня, и все, что она тогда создала, было таким же, как в молодости, ярким и жизнеутверждающим. Она умерла в 1962 году; Ларионов пережил ее на два года.

Многоголосый хор звучит в этом сборнике: более сорока участников — друзей, русских и иностранных, художников, критиков, хореографов, артистов — прислало свои воспоминания и отзывы. Обо всех упомянуть невозможно, хотя в каждой статье есть хоть один штрих, дополняющий портреты Гончаровой или Ларионова. Назову Жана Кассу, автора предисловия, уже покойного критика Вальдемара Жоржа, Ю. Анненкова,

Сергея Лифаря, Л. Сюрважа, Андрея Шайкевича, Софью Прегель, посвятившую Гончаровой поэму, Бэлу Рейн, Наталию Кодрянскую, журналиста Ф. Поттешера, бывших учениц Гончаровой, написавших о ней теплые воспоминания, художницу Александру Прегель и ту же Татьяну Логинову, статья которой заканчивает сборник.

Проходят годы, и интерес к творчеству Гончаровой и Ларионова вновь пробуждается во всем мире: в Нью-Йорке и в Москве, в Париже, в Лионе и в Лондоне устраиваются выставки их работ; готовятся новые монографии. Память об этих легендарных фигурах остается жива: в истории живописи и театра они навсегда заняли принадлежащее им по праву место.

«Русская Мысль» № 2891, 20.IV.1972 г.

ПАМЯТИ Н.Н. ЕВРЕИНОВА

Драматург, режиссер, композитор, теоретик и историк сценического искусства, Н.Н. Евреинов был в полном смысле слова тем, что французы называют “un homme de théâtre“, — человеком, жившим только театром и для театра. Такого рода призвания обычно зарождаются рано: еще мальчиком, учеником псковской гимназии (Евреинов родился в 1879 году), он участвовал в любительских спектаклях; когда же в окрестностях Пскова стал подвизаться бродячий цирк, он убежал из дома и поступил в труппу — ненадолго, конечно, — клоуном и акробатом. Позднее, в Училище Правоведения, он организовал драматические вечера, в «Разбойниках» Шиллера исполнял роль Франца, ставил пьесы Островского и в то же время пробовал свои силы и как драматург: в 1899 году написал оперетку-арлекинаду — «Силы чар», для которой сочинил слова и музыку. Характерная черта: к «арлекинаде», легкому, изящному жанру, полному свободной выдумки, он почувствовал влечение уже в таком юном возрасте и остался ему верен до конца. Лучшие его пьесы — остроумные, насыщенные фантастикой комедии.

Окончив Училище Правоведения в 1901 году, Евреинов поступил на государственную службу, но все свободное время отдавал театру и драматургии. В 1905 году его одноактная комедия «Степик и Манюрочка» была поставлена в Александринском театре, а четыре

года спустя комедия «Такая женщина» — в Малом. Это был большой успех, и имя молодого драматурга быстро приобрело известность.

К тому же времени сложились и его теоретические взгляды на театральное искусство. Противник как реализма, так и символизма, господствовавших тогда на русской сцене, Евреинов настаивал на независимости театра от литературы, на необходимости «условности» и театральности, заложенных в самой природе искусства, восставал против фотографичности быта и фотографичности речи. Театральность, утверждал он, вообще свойственна человеку: ведь каждый из нас в жизни актерствует и даже, в зависимости от обстановки и собеседника, меняет свое амплуа. Свои теории он изложил в целом ряде книг и статей.

Ища подтверждения своих взглядов в истоках сценического искусства, Евреинов увлекся средневековым европейским театром. Созданный им и просуществовавший всего год (1907-1908) Старинный Театр, где шли средневековые французские фарсы и пасторали, привлекал немало петербургских театралов и оказал влияние и на других театральных деятелей — Мейерхольда, Таирова, Вахтангова.

В 1909 году, вместе с Ф.Ф. Комиссаржевским, братом знаменитой артистки, Евреинов создал — тоже на короткий срок — «Веселый Театр для пожилых детей»: там разыгрывались одноактные сатирические пьески Козьмы Пруткова, а также «арлекинады» и «монодрамы» самого Евреинова. Свойственный ему дар — создавать короткие, изящные юмористические пьесы — привлек к нему внимание известного театрального критика А.Р. Кугеля, который пригласил его на должность директора в созданный им и его женой, артисткой Холмской, театр «Кривое Зеркало».

Вероятно, немного осталось теперь петербуржцев, сохранивших память об этом единственном в своем роде в России театре сатиры и пародии.

«Кривое Зеркало» просуществовало с 1910 года до революции, и Евреинов сделал там более ста постановок, в том числе и собственных пьес. Самыми нашумевшими спектаклями были знаменитая «Вампука» и «Ревизор» Гоголя, блестяще-остроумная и злая пародия на известных в то время режиссеров, — в частности на Станиславского, на его ненавистный Евреинову реализм, граничивший с натурализмом.

Эти годы были, вероятно, самыми счастливыми в жизни Евреинова: ему удалось полностью осуществить свои замыслы, свободно создавать оригинальные постановки пантомим и арлекинад. Успех его был не только художественный, но и материальный: это давало ему возможность работать и над своей философией театра. Впрочем, для всех людей творческого склада, искавших новых путей, эта эпоха была чрезвычайно благоприятной: в литературе, в живописи, в театре возникали новые течения. Как сказал Юрий Тынянов, «всегда в крови бродит время, у каждого периода есть свой вид брожения». Война положила этому брожению конец.

После Октябрьской революции Евреинов на несколько лет уехал на юг, в Тбилиси; оттуда ездил в Киев, в Харьков, в Одессу, — всюду, где ему предлагали театральную работу. На юге же он написал свою лучшую пьесу, «Самое главное», сохранившую свою популярность до наших дней.

Вернувшись в голодный Петроград, Евреинов занялся чтением лекций в Доме Искусств и в Доме Литераторов, — к этому, да к работе над историей и теорией театрального искусства, сводилась теперь его деятельность. Блестяще образованный эстет, поклонник

Оскара Уайльда, неистощимый на выдумки, всецело занятый проблемами театра, но совершенно равнодушный к проблемам социальным и политическим, Евреинов оказался в Советской России не у места; на выполнение социальных заказов он был неспособен.

В 1925 году, вместе с молодой женой, А.А. Кашиной, он навсегда покинул свою родину и поселился в Париже, где прожил до конца жизни, — он умер в 1953 году. Он долго колебался, прежде чем решиться на эмиграцию, — и, конечно, иначе поступить не мог; но для него, как для многих русских писателей, разрыв с родиной оказался трагическим. Чужая страна, чужой язык, чужая публика, — все это почти неодолимые препятствия на пути художника. К тому же, увлекшись кинематографией, сулившей значительные доходы, Евреинов на некоторое время отошел от драматургии. Правда, были попытки познакомить французских зрителей с его пьесами: в 1926 году «Самое Главное» шло в театре Ателье, в постановке Шарля Дюллэна, с длительным успехом; кроме этой пьесы, и другие, созданные Евреиновым в молодости, — например, «Веселая Смерть» или «Степик и Манюрочка» — много лет ставились и в европейских столицах, и в Америке. Но пьесы, написанные Евреиновым в эмиграции, не находили ни издателя, ни постановщиков. И, казалось, его преследовала неудача: съемки «Самого Главного» должны были начаться в первых числах сентября 1939 года: их прервала Вторая мировая война...

В Лондоне вышла недавно в новом издании, с предисловием английского профессора русской литературы С. Муди, последняя книга Евреинова: «История

Русского Театра», написанная им по заказу издательства “Du Chêne“.*

Писал он ее в трудных условиях: срок ему был определен короткий, а нужной документации в парижских библиотеках недоставало. Для этой книги Евреинов широко воспользовался собственными книгами и статьями (о «Происхождении театра», о «Крепостном театре» и т.д.), а также трудами русских историков театра — Всеволодского, Таиндера, Зноско-Боровского.

Автор ведет нас от народного «обрядового действа» к церковному театру Московской Руси, к первым сценическим подражаниям западным образцам, к блестящим спектаклям и «машкарадам» при дворе веселой Елисавет, к появлению первых русских драматургов, — Дмитриева, Сумарокова, к вершинам русской драматургии — Гоголю и Островскому и, наконец, к новейшим временам. Увлекательна глава о помещичьих театрах и крепостных актерах, из которой читатель узнает, как в жестоких условиях крепостного права создавались столичные и провинциальные труппы, из которых вышло немало больших актеров: так, Екатерина Семенова и знаменитый Щепкин родились бесправными рабами.

Особое место в книге занимает последняя глава, в которой автор рассказывает о сценических исканиях в предреволюционный период и, по собственному признанию, выступает не только как историк, но и как «мемуарист»: в этом движении он сам сыграл выдающуюся роль.

В своей книге Евреинов проявляет себя таким же страстным спорщиком и борцом за свои взгляды, как

---

* A history of the russian theatre, — N.N. Evreinoff (русский текст). Introduction by C. Moody. Bradda Books Ltd. Lethworth England.

и в молодые годы. Конечно, не со всеми его утверждениями можно согласиться. Мне кажется, например, спорным его мнение о вредном влиянии западно-европейского театра на русский. Чем был бы русский театр без Европы? Не было бы ни «Недоросля», ни «Бригадира» без комедий датского писателя Гольдберга, ни «Горя от ума» без Мольера, ни пушкинского «Бориса Годунова» без Шекспира, ни, наконец, самого Евреинова без итальянской comedia del arte. Даже «Кривое Зеркало» возникло под влиянием маленьких немецких театров. И где бы русский театр черпал свое вдохновение? Неужели только в религиозных мистериях и в народных «действах»? Всякое молодое искусство вырастает под влиянием другого, более зрелого, — но влияние — не значит слепое подражание. А когда окно в Европу захлопывают, на российских сценах наступает тьма...

И не стоило автору, кажется мне, — после стольких лет — с азартом, как в былые времена, сводить счеты с давно исчезнувшими соперниками — особенно со Станиславским и Мейерхольдом. В те времена на русской сцене возможны были всякого рода опыты, «театральность» соседствовала с реализмом, символизм с натурализмом. Чем больше голосов, тем богаче хор. Вспоминается мудрый Чехов, сказавший устами Тригорина: «Ведь всем хватит места, и новым и старым, — зачем толкаться?»

Евреинову место в истории театра навсегда обеспечено: он посвятил свои лучшие годы борьбе за обновление театрального искусства, стоявшего, по его убеждению, на ложном пути. И любопытно отметить, что современный театр, отрицающий значение литературного текста, отводящий главную роль режиссеру, проповедующий импровизацию актеров и активное

участие публики в спектакле, во многих отношениях преследует цели, близкие сердцу Евреинова: он оказался, таким образом, предвестником новых течений.

«Русская Мысль» № 2915, 5.X.1972 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О «ГЕЛИКОНЕ»

Берлин, 1922 год: это была эпоха, когда русские писатели, оказавшиеся за границей, стояли еще на перепутье и не знали: возвращаться ли им домой, оставаться ли на чужбине?

Двери не были еще на запоре, железный занавес не опустился: одни литераторы приезжали — большей частью под предлогом леченья — и уезжали обратно, другие обосновывались окончательно за границей. Впрочем, и это «окончательно» сводилось в их представлении к сроку, не превышавшему в худшем случае пяти лет. Слово «навсегда» не было еще произнесено.

Русские издательства развивали тогда в Берлине кипучую деятельность, которую Виктор Шкловский назвал даже как-то «издательским бешенством матки». Не случайно, конечно, центром издательского дела оказался именно Берлин: это объяснялось галопирующей инфляцией, дешевизной бумаги, дешевизной рабочих рук. Но такими практическими соображениями прикрывался фантастический в сущности характер самой деятельности: книги не пропускались в СССР, читательский же спрос за границей покрывался довольно быстро. Но на складах беспрерывно, неумолимо росли кучи новых книг, писатели продолжали писать, а издатели издавать.*

* Помню издательства: З.И. Гржебина, С. Эфрона, Геликон, Петрополис, Слово, — но были и другие.

На углу двух таких улиц берлинского Вестена возникло, кажется в конце 1921 года, издательство «Геликон», во главе которого стоял Абрам Григорьевич Вишняк. Средства у издателя были небольшие — ему то и дело приходилось для «выкупа» очередной книги из типографии закладывать весь имевшийся запас бумаги, — но в энергии и планах недостатка не было.

Я только что окончила немецкую школу, когда, заменяя заболевшую секретаршу, на время поступила в «Геликон». В этой угловой светлой лавочке мне привелось познакомиться (летом 1922 года) с русской литературой на чужбине: сюда приходили Белый и Шкловский, Цветаева и Пастернак, Ремизов, Гершензон, Эренбург и еще много народа поменьше, — особенно из начинающих поэтов. Кроме книг, А.Г. Вишняк издавал еще толстый литературный журнал «Эпопея», для которого заручился сотрудничеством большинства своих посетителей. «Эпопея» выходила под редакцией Андрея Белого, на обложке ее стояла гордая пометка: Москва-Берлин. Но Москва «Эпопеи» не читала.

Однажды днем, когда я сидела за русской машинкой, неумело тяпая одним пальцем, отворилась дверь, ведшая прямо на улицу, и вошел сутулясь высокий, худой человек, в легкой фуфайке, с блестящими голубыми глазами на круглом, загорелом лице и массой легких седых волос, ореолом стоящих над крутым лбом. За ним шла бледная девица и на согнутом локте несла пиджак: день был жаркий.

— Абрам Григорьич? — спросил вошедший. Я указала на дверь, за которой был крошечный кабинет хозяина.

— Андрей Белый, — шепнул мне Бубрик (секретарь издательства и мой старший коллега), когда посетитель исчез за дверью.

От светлых глаз, от белоснежных волос, от наивной улыбки Андрея Белого исходило какое-то сияние, и, мне кажется, даже в толпе нельзя было бы не заметить его легкого силуэта, танцующей походки. Он говорил много и свободно, с большим темпераментом, скандируя свою речь, как стихи; слова едва поспевали за летящей мыслью.

В то время он только недавно приехал из России, где читал лекции о поэзии в Пролеткульте, во Дворце Искусств; успех этих лекций, энтузиазм совершенно неподготовленной солдатской и рабочей аудитории его поразили; о том, как нужен в Советской России каждый образованный человек, с каким нетерпением народ ждет приобщения к утаенной от него культуре, Белый мог говорить часами, увлекаясь и увлекая других.

Но не менее этой темы его волновала другая: его сложные отношения с Гиппиус и Мережковским, с которыми раньше он был очень близок, потом разошелся, и которые теперь обвиняли его в «большевизанстве». «Зинаида Гиппиус, никогда ничего для народа не сделавшая, оплевывает нас, попав за границу!» — кричал он, взмахивая пушистыми седыми волосами. И еще: «Мережковский бежал из России. От большевиков ли? Не от рабочих ли, крестьян, красноармейцев, матросов, протягивающих руки за хлебом духовным?»

Его «Воспоминания о Блоке», которые он печатал в «Эпопее» и которые занимали добрую половину сборника, были отчасти и сведением счетов с Мережковским. Их Белый не щадил — особенно его: «туфельки с помпонами», в которых Мережковский расхаживал по комнате, в представлении читателя незаметно становились символом всей литературной деятельности, всех «псевдо-философских бескровных схемочек», которые Мережковский «клеил», не покидая своей квартиры в доме Мурузи, «в роскошных уютах просторного каби-

нета», как выражался Белый. Об этих «Воспоминаниях», в которых борьбе за Блока между Белым и Мережковским отводилось больше места, чем блоковской поэзии, Марина Цветаева как-то сказала с грустью: «Из этого видно одно: как все они мучили Блока».

Подобно большинству русских интеллигентов, выросших в барских условиях, Андрей Белый был совершенно неприспособлен к практической жизни — беспомощнее малого ребенка. Жалеть его, впрочем, не приходилось: всегда в таких случаях находятся сердобольные существа женского пола, готовые прийти на помощь заглядевшемуся на звезды мечтателю. В то время таким существом, неотступно ходившим за Белым — и в прямом, и в переносном смысле, — была молодая поэтесса Вера Л., бледная, хрупкая блондинка с большим, ярко накрашенным ртом. Она носила за ним портфель с рукописями, книги, разные теплые вещи и то и дело прерывала его вдохновенные речи робким, но настойчивым голосом:

— Борис Николаевич, накиньте, пожалуйста, шарф: тут дует.

— Борис Николаевич, снимите свэтер: жарко.

Он подчинялся со своей очаровательной детской улыбкой, не переставая, впрочем, говорить, подтанцовывая и широко жестикулируя. Мне, молчаливой свидетельнице, было ясно, что Вера Л. в него влюблена, — и представлялось в то же время, что вдохновенный и рассеянный взгляд Белого скользит по ней, ее не видя, что все ее услуги он принимает как привычное и должное. Уходя, он постоянно что-нибудь забывал или ронял царственно-небрежным жестом — так грудные дети роняют погремушку, — и поэтесса, быстро подобрав платок, записку, книгу, спешила за ним.

Устная проза Белого — как и письменная — подчинялась своеобразному ритму. Когда я читаю, мне всегда кажется, что я слышу его голос.

В число моих обязанностей, кроме переписки рукописей, входило и чтение корректур. В послеобеденные часы, когда наш патрон убегал в типографию, мы с Бубриком усаживались в хозяйском кабинете и принимались проверять гранки: один читал вслух, другой следил по рукописи. Бубрик, молодой человек лет двадцати пяти, сумрачный и страстный, сам тайком писавший стихи, преклонялся перед Белым и знал наизусть целые страницы из «Петербурга»; медленным низким голосом он читал нараспев прозу Белого, подчеркивая знаки препинания: «между тем осеннело, златело, шуршало сухим листопадом: как часто в то время я — тире — забирался в поля и — тире — часами, присев на снопах, дорабатывался до собственного посвящения в жизнь — точка».

Однажды, когда мы сидели за чтением корректур, пришел неожиданно Белый со своей поэтессой. Мы продолжали работать. Он присел на ручку моего кресла, послушал, одобрительно кивая, потом взял у меня из рук корректуру и тут же, на колене, стал, к моему ужасу, переделывать и черкать. Я тогда не знала, что ни один писатель не может устоять перед таким соблазном.

Помню споры о возвращении в Россию, возникавшие между писателями, — Белым, Шкловским, стариком Гершензоном. Эпоха была тогда благоприятная — НЭП, сравнительная свобода творчества, поиски нового. Для Белого вопрос о возвращении стоял особенно остро: его привлекала «революционная буря» и открывавшееся перед ним, как ему казалось, необъятное поле деятельности — и в то же время он ясно сознавал, что слишком многое связывает его с Западом. Виктор

Шкловский — круглоголовый, рано полысевший, необыкновенно живой и говорливый — только что издал в «Геликоне» посвященную Эльзе Триоле любопытную книжку: «Зоо, или письма не о любви». В последнем письме, адресованном «товарищам из ЦИК'а», он просил позволения «вернуться домой». Скоро он действительно вернулся в СССР и — редкая удача — прожил там, по-видимому благополучно, больше пятидесяти лет.

Из других посетителей «Геликона» хочется особенно отметить Марину Цветаеву. Молодая, с гладкими стрижеными волосами и челкой на лбу, скромно одетая — всегда в коричневом или темно-синем, — она приходила в издательство, ведя за руку свою дочку Алю, тогда толстенькую девочку лет восьми или девяти. Эта Аля, выросшая в писательской среде, всеми балованная, под влиянием матери тоже писала: вела дневник, который Марина Цветаева читала нам вслух с нескрываемой гордостью. Из Алиного дневника мне запомнилось описание «Геликона»: «Вроде приюта, куда ходят старушки за пенсионом». Старинное слово «пенсион» умиляло Марину Цветаеву (я подозревала, впрочем, что именно она внушила его дочке), в описании же издательства была доля истины; писатели ходили туда главным образом в надежде на проблематичный аванс.

Ко мне лично Марина Цветаева была очень добра: она жалела меня за то, что я занималась таким, по ее мнению, скучным делом — перепиской рукописей на машинке, не подозревая, что я почитала для себя честью вращаться в орбите этой странствующей планеты: русской литературы в изгнании.

Помню, когда я переписывала новую рукопись Эренбурга («Тринадцать трубок») и пожаловалась как-то Цветаевой на его неразборчивые каракули, она сказала

мне очень серьезно: «А вы бросьте, не переписывайте. Это вообще стыд, что такую девочку, как вы, заставляют читать непристойную пошлятину».

Эренбург жил тогда недалеко от «Геликона», на Прагер Плац, и забредал к нам почти ежедневно. Угрюмый, молчаливый, он был очень некрасив; к старости — много лет спустя мне случилось встретиться с ним в Париже — стал гораздо благообразнее; но в те далекие годы, со своей лохматой, нечесаной шевелюрой, сутулостью, вечно опущенной головой и холодно-неприветливым выражением, он не внушал нам с Бубриком особой симпатии. В ответ на мои жалобы он брал у меня рукопись, одним духом прочитывал неразборчивую длинную фразу (начало которой медленно от меня ускользало, пока он доходил до конца) и, не прибавив ни слова, отправлялся в кабинет к Вишняку.

Марина Цветаева дала несколько статей в «Эпопею» — среди них была и статья о Пастернаке со знаменитой фразой: «Пастернак похож на араба и на его коня». Она высоко ценила поэта и была с ним очень дружна. Сам Пастернак, приехавший тогда ненадолго в Германию, тоже заглядывал к нам: высокий, стройный молодой человек со смуглым скуластым лицом и прекрасными темными глазами, сидевшими глубоко в орбитах. Он был тогда автором всего лишь нескольких сборников, но многие мои сверстники — и я в том числе — знали наизусть его стихи, особенно из сборника «Сестра моя жизнь», и всегда удивлялись, что старшему поколению они казались непонятными.

Часто в послеобеденные часы в «Геликоне» собирались писатели и терпеливо дожидались возвращения издателя, убежавшего куда-то в поисках кредита. В моей памяти живет еще впечатление этих импровизированных собраний: было весело, молодо, оживленно.

Больше всего говорилось о литературе, о поисках нового, о формализме, о тех или иных авторах, иногда о гонорарах; меньше всего о политике. Однажды Виктор Шкловский с жаром заговорил о страданиях немцев, раздавленных инфляцией, дороговизной, безработицей, — но к его выступлению большинство отнеслось равнодушно. Эта группа занесенных за границу писателей была кровно связана с Россией, жила только ею; немецкое же случайное окружение представлялось ей туманным, едва достойным внимания.

Мне кажется теперь, что и трагический смысл навязанного им историей выбора ускользал от их сознания: да и кто мог предвидеть будущее? Между тем, как русский богатырь в сказке, они стояли у перекрестка: «пойдешь направо — коня потеряешь, налево — сам пропадешь».

Каково бы ни было их решение, русским писателям грозило удушье: за границей из-за отсутствия широкой русской среды, читательского отклика: в России — из-за отсутствия свободы.

«Русская Мысль» № 2982, 17.I.1974 г.

ОЛЬГА ГЛЕБОВА-СУДЕЙКИНА

Статья написана по поводу диссертации Элиан Мок-Бикер на соискание степени доктора филологии, представленной ею в 1971 году Парижскому Университету.

Элиан Мок-Бикер выбрала Ольгу Глебову-Судейкину — как друга и вдохновителя поэтов и художников Серебряного Века.

Ольга Глебова-Судейкина была хорошо известна в начале века в художественных, театральных и литературных кругах Петербурга. Те — уже немногие, — кто видел ее на сцене, например, в «Бродячей Собаке», сохранили живую память о ее изящной, точно фарфоровой фигурке, о грации и отчетливости ее жестов, о необычайной привлекательности всего ее существа.

Этой петербургской Психее или Коломбине, как ее называли, Элиана Мок-Бикер посвятила большое научное исследование.* Чем объясняется выбор такого сюжета? Автор рассказывает в своем вступлении, что встретившийся ей в ахматовской «Поэме без героя» образ Ольги живо заинтересовал ее и ей захотелось восстановить подлинный облик этой вдохновительницы и друга многих поэтов и художников.

---

* Eliane Moch-Bickert, — Olga Glébova-Soudeikina, amie et inspiratrice des poètes. Service de reproductions des thèses, Université de Lille III, 1972.

Об Ольге Глебовой-Судейкиной, как о характерной представительнице той эпохи, есть упоминания в различных литературных мемуарах. Надежда Мандельштам, не отличающаяся, как известно, особой снисходительностью к современникам, посвятила Ольге несколько довольно колких страниц «Второй книги»; но и она признает, что Ольга была самой приветливой и доброжелательной из всех ахматовских «двойников» (Ахматова в каждом близком друге видела своего двойника, свое второе «я») и что именно Ольга способствовала примирению Ахматовой с Мандельштамом.

Корней Чуковский называет ее «прототипом петербурженки Серебряного века, воплощающей в себе многие черты, свойственные сверстницам Ахматовой». Темой этой книги является, таким образом, не только биография и характеристика Ольги Глебовой, но и культурное окружение, в котором прошла ее молодость, эпоха блестящего расцвета всех видов искусства, — эпоха быстро промелькнувшая, прерванная войной и революцией, но оставившая все же глубокие следы в литературе, живописи, театре.

«В то время ритм жизни совпадал с пульсом искусства», — сказал М. Кузмин. Новые веяния зарождались повсюду, возникали художественные журналы — «Мир Искусства», «Аполлон»; росли театры и артистические кабаре; Станиславский, Евреинов, Мейерхольд создавали свои методы и «школы»; огромная поэтическая волна вынесла на своем гребне Блока, Гумилева, Маяковского, — и все это находило отклик в душе Ольги Глебовой-Судейкиной, все ее увлекало: «искусство — моя жизнь», — говорила она.

Она родилась в 1885 году, окончила Императорскую театральную школу, играла на сцене Александринского, потом Драматического театра, — во главе которого стояла Вера Комиссаржевская, — выступала в

различных кабаре, особенно в «Бродячей Собаке». Двадцати двух лет вышла замуж за художника Судейкина; но брак оказался непрочным: Судейкин быстро охладел к жене и стал ей изменять. Разрыв с ним она перенесла болезненно, но все же нашла новых друзей — и подруг: из них самой близкой была Анна Ахматова, с которой Ольга была неразлучна до самого своего отъезда из России в 1924 году. А потом потекли годы эмиграции в Париже, и петербургской Коломбине пришлось познакомиться с одиночеством, бедностью, потом и с болезнью. Она умерла от туберкулеза в одном из парижских госпиталей в самом начале 1945 года.

«Олечка» — как звали ее в артистических кругах — была богато одарена природой, и может быть именно это обилие разносторонних талантов помешало ей занять выдающееся место в какой-либо области искусства. Она была не только актрисой и танцовщицей, но и художницей, скульптором, умела из тряпочек и глины создавать прелестные безделушки — статуэтки и куклы; была она и талантливой переводчицей французских поэтов — Бодлера, Верлэна, Малларме; Элиана Мок-Бикер посвящает большую главу подробному разбору этих переводов.

Но особое внимание исследователя заслуживает, конечно, роль Ольги — вдохновительницы поэтов Серебряного века.

О том, что центральная фигура «Поэмы без героя» навеяна образом Ольги, мы уже упомянули выше. У Ахматовой было в обычае зашифровывать свои стихи, вставлять в них намеки, понятные только посвященным. Она сама писала одному другу о «Поэме без героя»: «Тем, кто незнаком с некоторыми петербургскими обстоятельствами, поэма покажется непонятной и скучной». Но идентификация героини поэмы затруднений не представляет: Ахматова называет ее «белокурым

чудом», «Коломбиной десятых годов», «петербургской куклой» — все это прозвища, данные Ольге.

Со дня их разлуки прошло уже двадцать лет, когда Анна Ахматова пишет «Второе посвящение» к поэме, и в нем опять обращается к Ольге:

Ты ли, Путаница-Психея,
Черно-белым веером вея,
Наклоняешься надо мной,
Хочешь мне сказать по секрету,
Что уже миновала Лету
И иною дышишь весной?

В мае 1945 года, когда были написаны эти строки, Ольги уже не было в живых; Ахматова этого еще не знала, — и все же, будто было у нее тайное предчувствие, обращается к подруге, как к ушедшей в другой мир.

Ольге посвящены и другие стихотворения Ахматовой, например, «Голос памяти» в сборнике «Четки»:

— Что ты видишь, тускло на стену смотря?

Или стихи без названия в сборнике «Anno Domini», которые начинаются так:

— Пророчишь, горькая, и руки опустила...

Намеки на Ольгу встречаются и во многих других ее произведениях.

Встретившись с Элианой Мок-Бикер в Оксфорде, в 1965 году, Ахматова обрадовалась ее намерению написать об «Олечке», пригласила ее к себе в Ленинград и там помогла ей указаниями и советами.

Но Ольга Глебова-Судейкина вдохновляла и других известных поэтов. Ей посвятили стихи Ф. Сологуб, В. Рождественский, Игорь Северянин, Георгий Иванов и другие. В наследии М. Кузмина, близко знавшего чету Судейкиных, есть длинная поэма, посвященная

Ольге. Всеволод Князев, молодой поэт, любивший ее и, как рассказывали в Петербурге, из-за нее покончивший собой, писал:

> Вы — милая, нежная Коломбина...
> И разве не больно, не больно сердцу
> Знать, что я только Пьеро, Пьеро...

О ней упоминается в дневниках Александра Блока и Вел. Хлебникова. Для петербургских поэтов Ольга была живым символом блестящей эпохи.

Эта монография — плод большого и серьезного труда. Элиана Мок-Бикер собирала для нее материалы и в Ленинграде, где ей помогали В. Жирмунский и Н. Гоголев, специалист по истории Серебряного века, и где ей удалось найти документацию в Пушкинском Доме, в Русском Музее и в других книгохранилищах, — и в Париже, в библиотеках и частных архивах. Друзья Ольги — их теперь осталось немного — передали в ее распоряжение рисунки и письма Ольги и поделились с ней своими воспоминаниями.

Множество фотографий, автографов, репродукций портретов и работ Ольги дополняют текст.

Оленька, романтическая героиня Серебряного века, будет благодарна исследовательнице, вызвавшей ее из небытия.

«Русская Мысль» № 3010, 1.VIII.1974 г.

ГОВОРИТ НАБОКОВ

Новая книга Набокова: не роман, не рассказы, а сборник интервью, статей и писем.* Интервью были даны писателем ряду журналистов, в большинстве своем американских, в 60-х и в начале 70-х годов. По собственному признанию Набокова, он никогда не импровизирует своих ответов, а тщательно продумав их, записывает, отделывает и в таком виде передает журналистам. Для читателя это сведение ценно: мы имеем здесь дело с подлинными мнениями Набокова, — конечно, заостренными и не лишенными присущего ему оттенка вызова и сарказма.

В своем большом отеле на берегу Женевского озера, где он поселился лет пятнадцать тому назад, Набоков живет отшельником, посетителей принимает с большим разбором и почти весь день отдает литературной работе. Некоторые журналисты ставят ему в упрек это явное нежелание общаться с живым миром. Но разве одиночество и свобода — не непременное условие для непрекращающейся творческой работы, дарящей нас все новыми книгами?

— Ваше социальное окружение? — любопытствует журналист. — Утки Женевского озера, несколько симпатичных персонажей моего нового романа, сестра

---

* *V. Nabokov: "Strong opinions"* Mc Graw — Hill Book Company New York 1973.

в Женеве, ... мистер Ван Вин (герой романа «Ада»), который через день спускается вниз из своего горного шале...

На вопрос об его отношении к современному миру и его проблемам, Набоков хладнокровно отвечает, что для него единственный реальный мир — мир, созданный художником. «Мой мираж возникает в моей частной пустыне, бесплодной, но жаркой, где на стволе одинокой пальмы красуется надпись: автоприцепам останавливаться воспрещается».

Литераторы, увлекающиеся социальными и политическими проблемами, критики, требующие от писателя, чтобы он отозвался на «жгучие вопросы», вызывают в Набокове острое раздражение, напоминая ему и наших въедливых «радикальных» критиков прошлого века, и их наследников, управляющих советской литературой. И он отказывается восхищаться каким-либо романом потому лишь, что он «написан честным негром в Африке или честным белым в России». Все это не имеет никакого отношения к подлинной литературе.

Своего равнодушия ко всяким литературным школам, течениям и объединениям Набоков не скрывает («существует лишь одна школа — талант»), как не скрывает и своего вызывающе-пренебрежительного отношения к таким общепризнанным «величинам», как Бальзак, Стендаль, Фолкнер, Томас Манн, многие другие, и в том числе — Достоевский.

О вкусах не спорят, и, конечно, никто не обязан подчиняться чужому мнению. Но когда среди своих любимых писателей начала прошлого века — Пушкина, Грибоедова, Шатобриана, Китса — Набоков называет и Кюхельбекера, — нельзя отделаться от подозрения, что он насмехается над бедным американским критиком (в данном случае — Э. Вильсоном), который вероятно тут

же бросится лихорадочно листать энциклопедию в поисках каких-либо сведений об этом неизвестном гении.

Зато когда Набоков выделяет имена наиболее близких ему писателей нашей эпохи — Пруста, Джойса, Кафки, Андрея Белого, — в его искренности сомневаться не приходится. Немало литературоведов работают уже, надо полагать, над учеными исследованиями: «Набоков и Кафка» и т.д. Но не следует при этом забывать, что Набоков начисто отрицает какое бы то ни было влияние чужого творчества на его собственное. Так, с произведениями Кафки он ознакомился, когда уже было написано «Приглашение на казнь» — роман, в теме и композиции которого находят сходство с «Процессом».

На вопросы журналистов о том, как создаются его книги, писатель отвечает по-видимому охотно. Сюжет зарождается непроизвольно, точно внушается какой-то неведомой силой; образы, мысли, метафоры заносятся на отдельные карточки, перерабатываются, переписываются; потом заполняются пробелы — так вырастает роман. Объяснение, казалось бы, точное и простое, но тайна творческого процесса так и остается нераскрытой, — да иначе и быть не может.

— Какое удовольствие испытываете вы при писании? — То же, что при чтении: блаженство, наслаждение, вызванное данной фразой, разделяется удовлетворенным писателем и благодарным читателем... или же — что сводится к тому же самому — писателем, благодарным неизвестной силе, внушившей ему определенное сочетание образов — и читателем-художником, удовлетворенным таким сочетанием.

Следует ли из этого заключить, что он пишет в сущности для немногих?

Когда его спрашивают о его отношении к Америке, Набоков утверждает, что нашел там вторую родину в полном смысле этого слова; в Америке чувствует себя лучше, чем где бы то ни было; считает себя американским писателем, родившимся в России, образование получившим в Англии. А на вопрос одного журналиста: «Вернетесь ли вы в Россию?» отвечает почти со страстью: «Никогда, — по той простой причине, что нужная мне Россия всегда со мной: литература, язык и мое русское детство. Я никогда не вернусь. Я никогда не сдамся», — что не мешает ему сказать в том же интервью: «Я сознаю себя русским, и все мои русские произведения, романы, стихи и рассказы — своего рода дань России». Противоречие тут только кажущееся: с Россией своего детства он кровно связан — и всем своим существом ненавидит ту, которая задушила свободное искусство.

Набоков был, конечно, прав, когда в 1939 году, еще до отъезда в Америку, решил перейти на английский язык. Писатель не может работать, не получая никакого отклика, (хоть автор и уверяет, что ему достаточно одного читателя — того, чье отражение он видит в зеркале), — эмигрантская же культурная среда, вначале богатая, сложная, отзывчивая, с каждым годом неизбежно таяла. Переход на другой язык дался писателю нелегко: пришлось пожертвовать накопленным богатством, музыкой, гибкостью, красками родного языка: ощущение было такое, будто «во время взрыва потерял семь или восемь пальцев». Настойчивой работой ему скоро удалось добиться такого же стилистического совершенства, такого же блеска, — и признания англосаксонских читательских масс.

Но мы, в ранней молодости увлекавшиеся романами Сирина, не можем не пожалеть, что исчез знакомый нам, хоть и стилизованный, по-своему воссозданный

мир, и что с тех пор писатель все дальше уходит от нас в безвоздушное пространство, в сюрреалистические эпохи и страны.

Я не знаю другого автора, который так вольно обращался бы со своими читателями, так откровенно подсмеивался бы над ними, уснащая свой английский текст (напр. в романе «Ада») русскими или французскими фразами, которые порой забывает перевести. Но русскому читателю не только очень интересно, — ему даже лестно читать новые романы Набокова: так и кажется, что автор ему лукаво подмигивает, будто хочет сказать: «Только мы с вами понимаем, в чем тут дело». В самом деле, кто кроме русского читателя оценит московский говорок первого мужа Ады («сделайте одолжение, батенька» — цитирую по памяти), кто обрадуется неожиданно пролетевшей перед ним русской стихотворной строке, кто в описании парка, где встречаются подростки Ада и Ван, узнает дорожки русского имения? Воспоминания о русском детстве и отрочестве постоянно возникают на страницах его английских романов.

Жизнь его, считает Набоков, сложилась на редкость удачно: пятнадцатилетним мальчиком он мечтал, как к семидесяти годам станет всемирно знаменитым писателем с волнистой гривой седых волос, — и эта мечта сбылась («кроме седой гривы», прибавляет автор).

Но знал ли кто-нибудь полную удачу в жизни? Несчастьем для Набокова был ранний разрыв с родной страной и невозможность — как и для всех нас — от нее уйти, о ней забыть. «Отвяжись — я тебя умоляю», обращается он к ней в одном из своих стихотворений. И дальше:

...Навсегда я готов затаиться
И без имени жить. Я готов,
Чтоб с тобой и во снах не сходиться,
Отказаться от всяческих снов.

Но от этих снов не уйти. И, вероятно, если бы не было разрыва с прошлым, темы детства и родной северной природы возникали бы реже в романах Набокова и не вносили бы лирической ноты в их сложную и отвлеченную композицию.

«Русская Мысль» № 3035, 23.I.1975 г.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ «АДА ИЛИ ЖАР»

Англосаксонские читатели уже давно познакомились с «Адой» — не последним, но самым значительным из последних романов Набокова — по-французски же он вышел только в прошлом году.*

Переводчики затратили на свой труд целых пять лет, и это не удивительно, если принять во внимание оригинальность и блеск стиля, обилие литературных цитат, часто намеренно неточных, каламбуров на нескольких языках, аллитераций... Труд был большой, но результат получился блестящий.

Читая «Аду», я вспоминала слова Гете о «Втором Фаусте»: «Я вложил туда много засекреченного». То же мог бы, вероятно, сказать о своем романе и Набоков. В самом деле, что такое «Ада»? Оптимистическая вариация «Лолиты», как уверяет автор? Эротический роман о кровосмешении? Пародия на семейную хронику? Новые поиски потерянного времени? Своеобразная теория времени и пространства? Любой из этих догадок можно найти подтверждение в романе, — и ни одна из них не исчерпает авторского замысла.

Французские критики, знакомые с прежними произведениями Набокова, утверждают, что основная тема «Ады», как всегда у этого автора, — тема изгнания, тоска по прежней России.

---

* Vladimir Nabokov: *Ada ou l'ardeur*, roman, trad. de l'anglais par Gilles Chahine avec la collaboration de J.-B. Blandenier, traduction revue par l'auteur. Edit. Fayard, Paris 1975, 490 p., 59 F.

И, действительно, в центре романа — русское имение Ардис, русский помещичий дом, где впервые встречаются подростки Ада и Ван Вин (для посторонних — кузены, на самом деле — родные брат и сестра) и где начинается их любовная связь.

Но Ардис — уже не подлинная Россия, живущая в памяти автора, возникающая в его ранних романах («Машенька», «Защита Лужина», «Дар»), а другая, как бы встающая из тумана, увиденная в счастливом сне и не связанная ни со временем, ни с пространством.

— Что же это за страна, — спрашивает себя в недоумении читатель, — эта «Амероссия», расположенная где-то между Россией и Америкой, где все говорят по крайней мере на двух языках, где у помещиков, как бывало в старину, много преданных слуг — дворецкий, кучер Трофим, шустрые горничные, гувернантка-француженка (очень похожая на гувернантку Лужина — и самого Набокова), которая пишет почему-то рассказы Мопассана под псевдонимом Монпарнасс?

Быт этой семьи напоминает быт былых времен: какие там семейные обеды — икра и водочка, рябчики с обязательным шампанским, какие тургеневские пикники в лесу, куда лакеи привозят в шарабане корзины с закусками, фруктами, вином! И какие бывают там иногда романтические дуэли!

Действие происходит якобы в конце прошлого века, и автор уточняет даже это обстоятельство, с нарочито серьезным видом приводя даты: Ада родилась в 1872 году, а ее брат и любовник на два года старше. Но в ту далекую эпоху существует уже и телефон (под названием «дорофон»), и самолеты, и психоанализ, и даже кинематограф, где подвизаются мать Ады, Марина, а потом и сама Ада.

Не трудно в конце концов догадаться, что автор самовольно выбирает и сочетает отрывки времени и

пространства, которые ему по той или иной причине пришлись по душе, и что этот роман, в котором главные роли играют маленькая нимфа и ее брат, их любовная связь, начинающаяся очень рано и продолжающаяся до бесконечности — не что иное, как миф, сказка о счастливой и вечной любви.

Особую лирическую ноту вносит в повествование история Люсетты, младшей сестры Ады, с детства упорно и безнадежно влюбленной в Вана. Главы, ей посвященные, человечнее других, и поэтому глубже нас задевают, чем те, в которых рассказывается о счастливой и в сущности беспроблемной любви Ады и Вана.

Кто из нас не был свидетелем — если не испытал сам — этой драмы «младшего в семье», который с криком «подождите меня!», со слезами в голосе бежит за старшими, а те от него со смехом прячутся? Таков удел Люсетты: она всю свою короткую жизнь бежит за Ваном и догнать его ей не суждено; единственным исходом для нее оказывается смерть.

При чтении этого романа, и в оригинале, и в переводе, мне всегда казалось, что он в сущности обращен не к иностранному, а к русскому читателю, — и как обидно все же, что по воле судьбы он не по-русски написан! В самом деле, кто, кроме русского, подметит классические цитаты, внесенные в текст без всяких кавычек, вроде: «я вас люблю любовью брата...» или «где нынче крест и тень ветвей?..».

Кто улыбнется целому ряду чеховских реплик (из «Трех сестер»), фигурирующих в диалогах? И все ли иностранные читатели знают, что Пушкин вовсе не написал поэмы «Всадник без головы»? То, что пьеса Чехова называется «Три сестры», а не «Четыре», известно, конечно, всем, — но далеко не все заметят, что четвертую сестру, «монашку Варю», Набоков заимствовал из «Вишневого сада». А начинается роман перевер-

нутой цитатой из Анны Карениной»: «Все счастливые семьи отличаются друг от друга»...

Так на протяжении всего романа Набоков забавляется, придумывая вариации общеизвестных изречений и цитат, уснащая свой текст намеками, недомолвками, загадками. И, конечно, необходимо упомянуть об исключительном блеске и богатстве стиля, о игре автора со словами и в слова — давней его страсти — о множестве аллитераций, анаграмм, акрофонических перестановок (напр., Таормина — Минотаора), создающих слова с новым значением: все это мы постоянно встречаем на страницах «Ады».

Но мне не хотелось бы создать впечатление, что этот роман написан целиком в пародийном или ироническом ключе, с оттенком характерного «надменного задора». В «Аде» с убедительной силой говорится и о совсем ином: о пролетающем времени, о том, что будущего нет, о любви, о жизни, о смерти. Это — сюрреалистический роман, протекающий в странном, фантастическом мире, и в нем утверждается власть любви и искусства, воображения и юмора.

В противоположность ранним романам Набокова — «Защите Лужина», «Отчаянию» и другим, — строгой композиции здесь нет: автор дает мысли и воображению полную волю. Действие растекается по всем направлениям: то и дело создаются новые элементы, появляются и исчезают новые действующие лица, не внося существенного изменения в течение романа.

Перед любовниками возникают препятствия, два раза их связь резко обрывается, — во второй раз на много лет из-за вынужденного брака Ады с богатым землевладельцем, симпатичным русским простачком, — но что значит время для этих вечных любовников? Когда после смерти мужа Ады они в последний раз сходятся и заключают идиллический брак, Вану, по расчету

автора, уже за девяносто, — но конца идиллии не предвидится, потому что времени в их мире нет. Если же и постигнет их смерть, они встретятся в другом мире, в таинственной «Терре», и там эту идеально счастливую пару, брата и сестру, в сущности — двойников, уже ничто не разлучит.

Западные критики часто упоминают о влиянии на Набокова творчества Шатобриана, Пруста, Джойса или Кафки, таких же как он «внутренних изгнанников». Не знаю, можно ли говорить вообще о влиянии предшественников на такого своеобразного и независимого писателя.

Но родство талантов, сходство мироощущения несомненно существуют; есть и сходство тем: тема двойника, тема распада современного мира, — и не удивительно, что Набокову, человеку западной культуры, писатели, этой культурой созданные, — ближе других. Но к названным выше хочется причислить и Гоголя, такого же волшебника, как Набоков, тоже создавшего свой фантастический мир, который только наши близорукие критики прошлого века могли принять за реальный.

Исследователи будут изучать в свое время эволюцию набоковского дара: непрерывно растущую силу воображения и параллельно с этим постепенный отход автора от реализма.

Такого рода эволюция — в русской литературе явление довольно редкое; творческий лик большинства наших романистов изменялся мало: ведь в «Воскресенье» можно узнать автора «Детства», а «Новь» по стилю и мысли не так уж далека от «Записок охотника». Но что общего между «Адой» и «Машенькой?».

За последние годы, если не считать реалистического «Пнина» и — с оговорками — «Лолиты», Набоков все дальше уходит от нас в свой собственный зеркальный мир, в котором отражаются и блеск, и богатство, и краски жизни, но от которого веет на нас холодком. Но может быть, в этом «засекреченном» мире, смеси иронии и лиризма, по-новому преображаются воспоминания о русском детстве и юности.

«Русская Мысль» № 3101, 29.IV.1976 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О СИРИНЕ

Теперь, когда прошло столько лет — больше полстолетия, — мне трудно, конечно, установить, когда именно я впервые встретилась с молодым Набоковым. Знаю, что это было в Берлине, в середине 20-х годов, и что знакомство состоялось у Р.А. Татариновой, жены сотрудника русской газеты «Руль»; гостеприимная и общительная, она обладала особым даром: умела объединять людей различных взглядов и вкусов, — конечно, из русской интеллигенции. Вот у нее я и увидела впервые высокого, худого молодого человека; — почти белые тонкие брови разлетались от переносицы к вискам, взгляд серых глаз был проницательный и насмешливый, и я, тогда очень молодая и застенчивая, подумала: ну, такому лучше на зубок не попадаться.

Но, конечно, я уже слышала о нем раньше, — кто в Берлине не знал о поэте Сирине? (Этот псевдоним В. Набоков выбрал, чтобы его не смешивали с отцом, В.Д. Набоковым). И, помню еще, до этой первой встречи пришла как-то ко мне, вместе с одной общей приятельницей, сестра В. Набокова, Ольга, и стала, — как он, по-петербургски картавя, — с увлечением и жаром читать нам его стихи.

Моя память навсегда сохранила такую строфу:

> В платье бархатном, с огромным
> Кружевным воротником

Ты стояла перед темным
И готическим окном.

Но, может быть, эти строки — вовсе не из напечатанных его стихов, а из совсем ранних, почти детских, которые он как-то читал у нас в кружке.

В Берлине, где, говорят, числилось до 200 000 русских эмигрантов и было несколько литературных объединений, Набоков участвовал, насколько мне известно, в двух: в кружке Татариновой (впоследствии, после смерти критика Ю.И. Айхенвальда, кружок стал называться его именем) и в нашем, молодом «Кружке Поэтов», активным членом которого была и я, — а в другой меня часто приглашали.

У нас Набоков читал стихи, в кружке Айхенвальда — прозу, иногда — доклады. Помню его доклад под названием «Торжество добродетели» — о советской литературе. Уже тогда, в 20-х годах, когда сияли еще имена Булгакова, Ахматовой, Пастернака, Бабеля, Зощенко, — Набоков один из первых угадал, что русской литературе скоро придет конец, что власть наступила ей на горло. С ним спорили: нашей словесности цензура не в новинку, русские писатели привыкли высказываться между строк. Но прав оказался Набоков, — у него было, может быть, меньше аргументов, чем у других, — но больше интуиции.

Читал он в этом кружке и отрывки из своего первого романа, «Машенька», — и вызвал общее шумное одобрение. «У нас появился новый Тургенев», — воскликнул тогда Ю.И. Айхенвальд. Конечно, это было ошибкой, — Набоков к тому же Тургенева не слишком жаловал, насмехался впоследствии над его «тет-а-тетами в акатниках», — но в «Машеньке» очень заметно влияние классической литературы.

В кружке Айхенвальда были писатели, известные еще в России, а в нашем «Кружке Поэтов» преобладала молодежь — и тон заседаний был другой: собирались на частных квартирах, ели пирожные за чайным столом и часто с увлечением спорили. В. Набоков и В. Корвин-Пиотровский у нас считались «мэтрами»; их авторитет признавали.

И Набоков, впоследствии так яростно нападавший на общепризнанных больших писателей, уверявший, что Достоевский — наш лучший автор детективных романов с оттенком мистики, или что «скоро кто-то придет с молотом и трахнет, как следует, по Бальзаку, Горькому, Томасу Манну», — к нашим начинающим поэтам и писателям относился дружески-снисходительно, — что, конечно, не требует пояснения. Но иногда все же не мог удержаться от злой насмешки. Был у нас пожилой писатель М-ич, писавший по старинке и к тому же довольно вульгарно. И Набоков, критикуя его рассказы и делая вид, что их цитирует, выдумывал такие фразы: «это была роскошная женщина... Ее дивные выпуклые формы...» Нельзя было не смеяться.

Ко мне, должна сказать, он был очень добр. В те годы я печатала в «Руле» рассказы о русском детстве, об эмигрантской жизни, которые нравились читателям. Набоков их тоже одобрял. Помню, как-то я прочла в кружке рассказ о неудачном самоубийце и, говоря о револьвере, упомянула слово «собачка». — «А что это такая за собачка? — коварно спросил Пиотровский. — Можете ее описать?» Но Набоков поспешно на него замахал: «Оставьте, пожалуйста, не приставайте!»

Встречаться с Набоковым «в гостях», в частном доме, — чаще всего у той же Р. Татариновой, — было гораздо интереснее, чем на собраниях кружка. Иногда он приходил поздно, позже всех, говорил: «Расписался, не заметил, как пролетело время», — и выражение

у него было рассеянное, отсутствующее; он был еще не с нами, он думал о недописанной странице. Часто работал по ночам, — в те годы романы и рассказы следовали одни за другими. Но и тогда уже у него была страсть к игре слов, к игре со словами. Раз, рассказывал он нам, ему вздумалось сочинить палиндром (строки, которые читаются одинаково и слева направо, и справа налево).

Уж и первые три строчки дались ему нелегко:

Рвал Эол алоэ, лавр
Те ему: «Шш... Ишь, умеет
Рвать!» Он им: «Я — Минотавр»...

Четвертая строка никак не получалась. Он промучился над ней полночи, пока его жена, проснувшись, не сказала ему, что по ее мнению от такого занятия мало практической пользы. Ему пришлось согласиться — и палиндром остался незаконченным.

Любил иногда выдумывать игры: «Смотрите две минуты на эту картину, а потом закройте глаза и расскажите, что «запомнили». Конечно, он один был способен по памяти восстановить картину, не забывая ни малейшей подробности. Память, особенно зрительная, у него была исключительная, — и он даже признавался, что она ему мешает иногда, загромождает сознание.

Его часто упрекали в излишней гордости, в «высокомерном задоре», в снобизме. В этом была доля правды, — но мне уже тогда казалось, что его надменность была своего рода «защитной маской», как сказал кто-то. Молодость Набокова была нелегкой. После счастливого барского детства, всеми избалованный, ни в чем не знавший отказа, он оказался на положении бедного эмигранта, а после трагической смерти отца — главой большой семьи, роль, для которой он не был создан.

Добрые друзья принялись хлопотать, нашли для него место в банке: В. Набоков походил туда недели две, а потом просто перестал ходить, никого не предупредив: так ясно было ему, что он не мог продать свой драгоценный дар за гроши. Он кое-как перебивался — уроками английского языка, теннисной игры; раз, рассказывал он мне впоследствии, поместил в газете объявление: «даю уроки просодии», — но ученик нашелся только один: секретарь нашего кружка, поэт Михаил Горлин.

Много лет спустя, в Париже, после его возвращения из Америки, я увидела изменившегося Набокова: раздобревшего и подобревшего. — Вы теперь стали похожи на маститого русского писателя, В. В., — сказала я ему. — Что, постарел? — Нет, но у Вас другое выражение, чем было в Берлине. — В Берлине я был «пшют», — сказал он, — все дело в возрасте.

А я подумала: нет, не в возрасте, а в изменившемся положении. Теперь он был прославленным на весь мир автором «Лолиты» — и защитная маска была уже не нужна.

О творчестве Набокова, о его месте в русской и всемирной литературе будут, конечно, писать еще много; мне же хочется упомянуть здесь лишь об одной теме: теме русской земли.

С какой блестящей живой отчетливостью, как точно описаны в «Машеньке», в «Защите Лужина», даже в позднейшем «Даре» родные места: именье, парк или зимний Петербург. Но вот в «Бледном Огне» Россия превратилась уже в какую-то отвлеченную «Землю», тамошние события — пародия на русскую революцию, а в «Аде» автор произвольно сочетает отрывки времени и пространства, — и в искусственной «Амероссии» мы уже не узнаем России: это осколок собственного зеркального мира Набокова, от которого веет холодом.

Нет, конечно, своего русского детства он не забыл, — но пролетевшие годы вычеркнули подлинный облик России, — и в этом, может быть, трагедия Набокова.

О его связи с родной землей говорит одно стихотворение, написанное в конце 20-х годов, если не ошибаюсь — нигде не напечатанное и прочитанное однажды в нашем кружке:

Мою ладонь художник строгий
Разрисовал: здесь все твои
Большие, малые дороги,
А жилы — реки и ручьи.

Слепец, я руки простираю
И все живое постигаю
Через тебя, страна моя,
Вот почему так счастлив я.

И если правда, как намедни
Мне померещилось во сне,
Что час беспечный, час последний
Найдет меня в чужой стране,

Как на покатой школьной парте
Совьешься ты, подобно карте,
Как только отпущу края, —
И ляжешь там, где лягу я.

— Почему «беспечный»? — спросил — как сейчас помню, Пиотровский.

— Потому что последний. Нет больше ни печали, ни забот...

«Русская Мысль» № 3184, 20.XII.1977 г.

О САШЕ ЧЕРНОМ

«Голова твоя седая, а глазам — шестнадцать лет». В этих строках Саши Черного запечатлены самые характерные его черты, это — его подлинный портрет. Таким я увидела его впервые в давно прошедшие времена — в самом начале эмиграции.

Покинув Россию в 1920 году, наша семья на год застряла в Вильно, где у нас были родные. Меня же, — чтобы не гуляла без дела, не теряла зря времени, — немедленно определили в русскую гимназию, незадолго до того основанную.

Как я плакала, расставаясь с подругами, порывая с Москвой! — («телефон утопила в слезах», уверял мой старший брат); в те дни мне казалось — никогда не утешусь! А утешилась, надо признаться, довольно быстро: среди новых моих одноклассниц и одноклассников (в гимназии было введено совместное обучение) оказалось немало детей эмигрантов, и скоро создалась у нас такая же беспечная, веселая атмосфера, какую я знала в Москве. Счастливый возраст... Мы не задумывались о будущем, не подозревали, какие ждут нас трудности. К тому же и взрослые верили тогда, что «скоро вернутся».

Историю в нашем классе преподавала Марья Ивановна Васильева, сероволосая, на вид сухая и строгая дама, — но нам она импонировала своей несомненной

ученостью и умением увлекательно рассказывать о французской революции. И однажды, набравшись храбрости, я подошла к ней после звонка:

— Марья Ивановна, я хочу вас что-то спросить... о революции...

— О французской революции? Вы чего-нибудь не поняли?

— Нет, не о французской, а нашей... Почему так случилось, что ждали ее у нас сто лет, а дождавшись — убежали?

Марья Ивановна поглядела на меня внимательно и улыбнулась.

— Об этом вы лучше спросите моего мужа. Заходите к нам, он будет рад. Ведь вы знаете, кто мой муж?

Нет, я не знала. Да меня это и не интересовало.

— Мой муж — Саша Черный.

Боже ты мой, неужели? Да кто же из нас не знал Саши Черного? Кто не помнил, не затвердил наизусть целого ряда его стихотворений, особенно тех, «для детей», которые благодаря четкому быстрому ритму без малейшего усилия навсегда врезаются в память? Хотя бы вот это, о «Приставалке»:

Отчего у мамочки
На щеках две ямочки?

Отчего у кошки
Вместо ручек — ножки?

Отчего у няни
Волоса в сметане?

Отчего лягушки
Спят без подушки?

Оттого, что у моего сыночка
Рот без замочка.

Или о «Трубочисте»:

Кто пришел? Трубочист.
Для чего? Чистить трубы;
Чернощекий, белозубый,
А в руке — огромный хлыст.

«Чернощекий»? Мне очень нравилось такое оригинальное прилагательное. А «огромный хлыст в руке» неожиданно превращал скромного трубочиста в блестящего циркового наездника.

Но мы, пятиклассницы, уже не были детьми, — и среди произведений Саши Черного нас привлекали и такие, где из нескольких строф, насыщенных конкретными образами, вырастали законченные рассказы, например «Городская сказка», о прекрасной студентке-медичке и влюбленном в нее филологе Смяткине (у Саши Черного встречаются чисто гоголевские фамилии), — или же то якобы объективное изображение тусклой российской действительности, какое возникает в стихотворении «Обстановочка».

Ревет сынок. Побит за двойку с плюсом.
Жена на локоны взяла последний рубль,
Супруг, убитый лавочкой и флюсом,
Подсчитывает месячную убыль...

Конечно, приглашению Марьи Ивановны я от души обрадовалась, — еще бы, познакомиться с Сашей Черным! — только попросила позволения привести и мою подругу Любу, которая была смелей и развязнее меня. Одной идти в гости к поэту я не решалась.

Их дом, — старый, облезлый, как большинство виленских домов, — стоял на узкой извилистой улице. Дверь нам открыла Марья Ивановна, а за ней показался сам Саша Черный, со своей волнистой белоснеж-

ной шевелюрой, детской улыбкой, черными глазами. Небольшого роста, худощавый, он был бы похож на мальчика, если бы не седина. Да ведь и было ему всего сорок лет, — в наше время он считался бы молодым. И мы скоро заметили, что он, как ни странно, застенчив; больше помалкивает, первенство в разговоре уступая жене.

Сидя за столом, чинно попивая чай, мы с Любой оглядывались и переглядывались: какое скудное и скучное было убранство этой квартирки! Правда, много книг на полке, да еще целая стопка их на полу, — но ни одной картинки на стене, ни одного растения; нигде не сказывается женский вкус, попытка создать подобие дома. Марья Ивановна принадлежала к той уже исчезавшей породе русских интеллигенток, которая в домашнем уюте и комфорте видела проявление презренного мещанства.

Зато — но об этом я узнала позже — она была из тех женщин, для которых муж — и высший, единственно бесспорный авторитет, и в то же время — ребенок, о котором надо беспрерывно заботиться. В эмиграции, когда литературные гонорары Саши Черного, конечно, во много раз уменьшились, Марья Ивановна брала на себя заботу о хлебе насущном, пеклась о муже, забывая о себе.

К концу чаепития я попросила Сашу Черного прочесть нам свои новые стихи, но он помотал головой, и я не решилась настаивать. Выручила Марья Ивановна: достала исписанный листок и прочла нам грустное стихотворение «На Литве», которое начинается так:

> На миг забыть — и вновь ты дома:
> До неба тучные скирды,
> У риги — пыльная солома,
> Дымятся дальние пруды...

А кончается:

Очнись. Нет дома — ты один,
И месяц строгий и чужой
Встает над дальнею межой...

Когда мы с Любой собрались уходить, Марья Ивановна мне сказала:

— Что ж? Ведь вы хотели спросить Александра Михайловича — почему у нас после революции столько интеллигентов разбежалось куда глаза глядят?

Саша Черный, поглядев на меня, усмехнулся и быстро ответил:

— Раньше видели прекрасные сны,— а потом проснулись.

Бедный Саша Черный! Ведь и он когда-то после революции 1905 года «обличал царских сановников и бюрократов», печатал колкие сатиры против «обреченного строя»; ведь и он мечтал о рае на земле, о всеобщем братстве и писал такие, по правде говоря, банальные и безличные строки:

Пусть злое насилье царит над землей,
За правое дело мы подняли бой,
Пусть многие пали, — другие придут
И дело святое к концу приведут.
Мы жертв никогда не считали,
Но с честью погибшие пали...
(1906)

Впоследствии, в годы эмиграции, когда он оказался навсегда оторванным от родной земли, когда тоска по родине стала основной темой его творчества, он вспомнил о своих юношеских увлечениях и иллюзиях и пожалел о своих нападках не прежнюю Россию:

Прокуроров было слишком много, —
Кто грехов твоих не осуждал?
А теперь, когда темна дорога
И гудит-ревет девятый вал,
О тебе, волнуясь, вспоминаем, —
Это все, что здесь мы сберегли,
И встает былое светлым раем,
Словно детство в солнечной пыли...

(1923)

«Ты» — здесь, конечно, Россия. Провожая нас на площадку, Марья Ивановна шепнула:

— Заходите к нам иногда: днем он не работает, только утром. Ему всегда веселее с детьми и с подростками, чем со взрослыми. А здесь ведь не с кем и поговорить.

Весть о том, что Саша Черный охотно принимает у себя молодежь, быстро разнеслась по гимназии, и к нему стали без стеснения заглядывать старшеклассницы. С некоторыми он подружился, называл их по именам, подсмеивался над ними. Забегали к нему и перед гимназическими балами, уже наряженные, чтобы ему показаться, перед ним повертеться. А мода была такая: широкая сборчатая юбка, тесно облегающий лиф и бретельки на обнаженных плечах. И Саша Черный, поглядев впервые на такой наряд, со свойственным ему даром мгновенно создавать меткий образ заметил:

— Это что такое? Абажур на ленточках?

За бальными платьями это название так и осталось.

Года два спустя, уже покинув Вильну, он написал юмористическую поэму «Бал в женской гимназии», навеянную вероятно воспоминаниями о русской юности, — но может быть и нашими рассказами о балах.

Больше мне с Сашей Черным не суждено было встретиться. Он уехал из Вильны — если я не ошибаюсь — в том же 1920 году, некоторое время провел в Берлине, потом в Риме, пока не обосновался окончательно во Франции. А когда я в 1933 году из Берлина переселилась в Париж, Саши Черного уже не было на свете: он умер за год до того в Лаванду, на юге Франции.

И кажется символичным для этого скромного, замкнутого человека, что — как мы недавно узнали — даже могилы его не сохранилось на кладбище Лаванду: как будто он, не любивший ни шумихи, ни славы, сам решил стереть все следы своего земного существования.

Но осталось главное. Остались его книги, сборники стихов и рассказов, вышедшие в России и в эмиграции.

Чужбина вовсе не «обескровила его дарования», как выразился один критик. Нет, его талант сохранил до конца свою силу, и в новых стихах Саши Черного, особенно «для детей» — та же певучесть, та же свежесть и меткость образов, что и в прежних. Изменились, пожалуй, лишь темы.

Банальных эмигрантских будней он не пытается описывать, политика перестала его интересовать и «прекрасным снам» он больше не верит.

Зато усилилось чувство природы, и, конечно, мотив ностальгии, тоски по утраченному, звучит в его лучших стихах — например, в «Весне на Крестовском», посвященных его другу А. Куприну.

По прихоти истории беспощадный сатирик превратился на чужбине в лирического поэта.

«Русская Мысль» № 3216, 10.V-1975 г.

БОРИС ПАСТЕРНАК В БЕРЛИНЕ

Меня познакомили с ним, как знакомили со всеми знаменитостями, посещавшими в ту пору берлинское издательство «Геликон». Это было очень давно, в 1922 году; едва окончив немецкую школу, я временно работала там, заменяя заболевшую секретаршу.

Так познакомилась я с Андреем Белым, Мариной Цветаевой, Шкловским, Айхенвальдом и другими поэтами и писателями, на время приехавшими из России. «А вот наша новая секретарша», — говорил издатель, Абрам Григорьевич Вишняк, подводя меня к очередному посетителю. И посетитель пожимал мне руку и бросал на меня благосклонный взгляд, не прерывая при этом разговора с издателем.

Как-то осенним утром появился там новый гость — высокий молодой человек со смуглым, восточного типа лицом, с темными, выразительными глазами, быстро и с увлечением говоривший, быстро расхаживавший по комнате. Это был Пастернак; он приехал в Берлин к выходу своего сборника стихов «Сестра моя жизнь», — в который вошли стихи, написанные им за пять лет до того, в год революции.

Этот сборник, давно ставший библиографической редкостью, когда-то у меня был, украшенный к тому же автографом поэта и несколькими любезными словами по моему адресу (Пастернак был на редкость учтивым и благожелательным человеком).

Но, по свойственному молодости легкомыслию, я эту книжку не то потеряла в переездах, не то кому-то одолжила, а потом забыла о ней. Недавно мне удалось все же разыскать уцелевший экземпляр в одной университетской библиотеке: тоненькая книжонка в 115 страниц, с портретом поэта работы Ю. Анненкова, с посвящением Лермонтову, с эпиграфом из Ленау... Перелистывая ее, я мыслью уходила в прошлое.

Помню раздраженное недоумение моих родителей и их друзей, представителей старшего поколения, при знакомстве с «Сестрой моей жизнью». — Что это за набор слов? Ведь в этом смысла нет никакого, — говорил мне отец, и в подтверждение читал отрывки из сборника:

> Из сада, с качелей, с бухты-барахты
> Вбегает ветка в трюмо,
> Огромная, близкая, с каплей смарагда
> На кончике кисти прямой.

«Объясни ты мне, пожалуйста, при чем тут кисть, да еще прямая? Почему он не может писать проще?»

Примечательно, что еще строже отозвался о своем раннем творчестве сам поэт, когда, много лет спустя, написал в «Автобиографическом очерке»: «Я не люблю своего стиля до 1940 года... Слух у меня был тогда испорчен выкрутасами и ломкой всего привычного... Я во всем искал не сущности, а посторонней остроты»...

Но еще до сорокового года начался перелом в его поэзии, начались поиски «содержания», сущности и простоты, но простоты не примитивной, а насыщенной словесным богатством, отражавшей то особое восприятие мира, которое ему было от природы дано. Наилучший пример этой классически строгой простоты в стихотворениях «Доктора Живаго».

Но в тот берлинский период моим друзьям, молодым поэтам, и мне самой, все стихи Пастернака казались хоть и сложными, но вполне понятными, и привлекали они нас именно тем, что он назвал «выкрутасами» — смелостью и свежестью образов.

Ты спросишь, кто велит,
Чтоб август был велик,
Кому ничто не мелко,
Кто погружен в отделку
Кленового листа...

Что же тут непонятного, говорили мы? В самом деле, разве не подлинное чудо — пятипалый кленовый лист, темно-зеленый, а потом медленно багровеющий, и так тщательно «отделанный» по краям? В этих стихах — удивление поэта и ребенка перед совершенством первозданного мира. Для Пастернака, как для «всесильного Бога деталей» его поэмы, ничто не мелко в природе. И еще помню, мы хором твердили, восхищаясь быстрым ритмом и аллитерациями, навсегда запомнившиеся строки:

Не он, не он, не шепот губ;
Не он, не топ подков,
Но только то, но только то,
Что стянуто платком...

Наше увлечение ранними стихами Пастернака разделяется и поныне молодежью в СССР: как рассказывают новые эмигранты, молодые русские поэты наизусть знают сборник «Сестра моя жизнь» — и по секрету доверяют друзьям: «вот этим мы живем».

* *
*

О русском Берлине тех лет писалось уже немало: это был фантастический город, где русские эмигранты жили собственной увлекательной и кипучей жизнью, не замечая и не зная окружающих их немцев, которые в свою очередь платили им полным равнодушием.

Первый подметил это, кажется, В. Набоков в романе «Дар»: «Получалось, как если бы тут, на этой немецкой улице, блуждали призраки русского бульвара, или даже наоборот: улица в России, несколько прохлаждающихся жителей и бледные тени бесчисленных инородцев, мелькавшие промеж них, как привычное и едва заметное наваждение».

Русский Берлин целиком умещался в пределах Вестена: там селились, там были русские лавки, рестораны, кафе — среди них знаменитая Прагердиле, где встречались по вечерам поэты и писатели, — и целый ряд издательств, быстро возникавших и спустя несколько лет бесследно исчезавших.

И следует упомянуть еще о болезни, свирепствовавшей тогда в Веймарской Германии: о безумной инфляции, равной которой не знала Европа ни раньше, ни позже. Цены удваивались за одни сутки, служащим платили ежедневно, а то и два раза в день, и они тотчас неслись в магазины, чтобы все, до последней марки, истратить; ренты и пенсии неумолимо таяли; накануне денежной реформы трамвайный билет стоил миллионы...

И эта непрочность материального существования отзывалась, конечно, и на жизни русской колонии, сгущала фантастическую ее окраску.

* *
*

«Сестра моя жизнь» вышла в издательстве З.И. Гржебина. Об этом издателе, друге Горького, страстном любителе поэзии, помеси фантазера и энергичного дельца, стоит сказать несколько слов. Когда в пореволюционные годы выяснилось, что в России нет ни бумаги, ни типографской краски, что национализированные типографии бездействуют, а недостаток в книгах, особенно в учебниках, — огромный, Гржебину пришла в голову блестящая мысль: основать в Берлине русское издательство и выпускать там для России книги по дешевой цене.

С помощью Горького (который сам стал негласно во главе издательства), Гржебину удалось получить согласие советского правительства, — и он с 1921 года поселился в Берлине, в огромной, но совершенно пустой квартире: на мебель денег не хватило.

На выпущенных им книгах — учебниках Киселева или литературных новинках — стояла пометка: Берлин-Петербург-Москва. Так, благодаря ему, многим молодым писателям и поэтам удалось увидеть свои произведения в печати и, что тоже немаловажно, — получить разрешение на заграничную поездку. Рассказывали, что у дверей Гржебина в Москве стояла очередь из светил русской литературы; среди них был и Есенин.

Пастернак ежедневно заходил в издательство, помещавшееся на Лютцо-Уфер, а потом, поболтав с Гржебиным, отправлялся бродить по Берлину, чаще всего один, а иногда и с молодой секретаршей издательства, Н.А. Залшупиной (в замужестве Даниловой), дружившей со многими русскими писателями в Берлине. Ее рассказу я обязана сведениями о берлинских настроениях Пастернака.

«На меня он производил впечатление чрезвычайно нерешительного человека», — вспоминает она. Пастер-

нака, как и других писателей, мучил тогда неотступный вопрос: возвращаться ли в Россию, оставаться ли на Западе? Но для него выбор осложнялся еще особым личным обстоятельством: легко увлекающийся, он влюбился в хорошенькую и очень милую немецкую девушку, — и бросить ее, расстаться с нею навеки казалось ему невозможным.

Так, шагая с Н. А. по скучноватым, однообразным берлинским улицам, — в этом городе привлекательны лишь два-три старых квартала, — он вновь и вновь перечислял вслух все доводы за и против, и то готов был пожертвовать своей поэтической судьбой, то признавался, что не может отказаться от родной природы, от языка, от читательской массы.

Наделенный особым «зрительным чутьем», он и городской пейзаж воспринимал и отражал с исключительной остротой. В Берлине его воображение особенно поразила станция метро «Глейсдрейэк», где скрещивались линии городских поездов и метро. Надземные вагоны, прилетавшие с запада, — а какие закаты открывались с верхнего вокзала! — с грохотом летели потом очень высоко, на уровне пятых этажей, до станции Ноллендорфплатц, и затем низвергались вниз, как в преисподнюю.

Глейсдрейэк был главным образом пересадочной станцией, новых пассажиров там было почему-то очень мало, — и это обстоятельство тоже занимало Пастернака. «Это — метро в никуда», — говорил он. Он любил взбираться вверх по высоким крутым лестницам и смотреть на скрещивающиеся внизу пути, похожие на геометрические чертежи. Эта станция вдохновила его на стихотворение, которое он посвятил своей спутнице.

Я позволю себе привести его здесь целиком: оно не вошло в сборники, малоизвестно, — а его метафоры,

ритм и образы характерны для этой эпохи творчества Пастернака:

GLEISDREIECK

Надежде Александровне Залшупиной.

Чем в жизни пробавляется чудак,
Что каждый день за небольшую плату
Сдает над ревом пропасти чердак
Из Потсдама спешащему закату?

Он выставляет розу с резедой
В клубящуюся за версты корзину,
Где семафоры спорят красотой
Со снежной далью, пахнущей бензином.

В руках у крыш, у труб, у недотрог
Не сумерки — карандаши для грима.
Туда, из мрака вырвавшись, метро
Комком гримас летит на крыльях дыма.

30 янв. 1923. Берлин.

— Ну что, нерешительный молодой человек? — пристава́л к поэту Гржебин, — возвращаетесь домой или остаетесь здесь? А вы поступайте, как я, — прибавлял он со смехом, — живите и здесь и там. (Гржебин, кстати, сам вскоре перешел в эмиграцию).

А Пастернаку в конце концов пришлось принять решение: как мы знаем, он «вернулся домой». О правильности этого выбора теперь бесполезно спорить; вероятно, такой жертвы требовал исконный жребий русского поэта.

«Русская Мысль» № 3079, 27.XI.1975 г.

А. СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ: «ЮНОШЕСКИЕ ПИСЬМА ВЫДУМАННОЙ ПОДРУГЕ»

Через десять лет после смерти Антуана де Сент-Экзюпери (погибшего в 1944 году, выполняя очередное задание летчика-истребителя), вышел в свет небольшой сборник его писем, адресованных «выдуманной подруге». Теперь это эпистолярное собрание, украшенное впервые рисунками писателя — набросками карикатур и силуэтов, — появилось в общедоступном издании.*

«Выдуманная подруга»? Нет, она действительно существовала, эта молодая девушка, письма писателя сохранившая и написавшая к сборнику предисловие: ее звали Рената де Соссин.

Во вступлении она набрасывает портрет молодого «Сент-Экса», одноклассника ее брата, — этого ни на кого не похожего Антуана, то упорно молчаливого и замкнутого, то неутомимого затейника и спорщика. Близкие друзья знали, что он пишет рассказы, — даже в классе, во время уроков, — и советовали ему продолжать, посвятить себя литературе. Но он возражал: «Нет, прежде чем писать, надо жить. Написанное вытекает из прожитого». Для него литература была неотделима от жизни; он не мог писать о том, чего не пережил сам, в чем не принимал активного участия.

---

* Saint-Exupéry. *"Lettres de jeunesse à l'amie inventée"*. Gallimard, Collection "Folio", 1977.

Но пока что надо было жить в самом прозаическом смысле этого слова: найти заработок. И Антуан, окончив лицей, становится представителем крупного завода, выпускающего грузовики. Так начинаются для него разъезды по провинциальной Франции, ночевки в старомодных гостиницах, случайные беседы со встречными, ночные прогулки, ночные мысли... Обо всем этом он рассказывает «выдуманной подруге». Влюблен ли он в свою эпистолярную собеседницу? Вероятно, да, хотя он в этом никогда не признается. Иначе — зачем бы он упрекал ее в равнодушии, сердился бы на ее краткость и бессодержательность ее ответов?

«Иногда, — пишет он ей из Тулузы в Париж, — я сажусь рядом с вами, чего вы мне обычно не позволяете. Сегодня вечером я вас сочиняю на свой лад, — и если бы вы знали, какая вы милая! В сущности, единственные наши с вами разговоры — это те, которые я сам сочиняю. И какая вы терпеливая, какая умница: вы все понимаете!.. Может быть, вы мне дороги именно тем, что я вас выдумал. Но иногда вы совпадаете с вашим изображением, — во всяком случае, вы его питаете собой».

Что же это, если не объяснение в любви?

И еще, значительно позже: «Не пишите мне, не стоит... Я больше не хочу умолять вас о дружбе. У меня была потребность писать вам, — у вас этой потребности не было. Такое иногда бывает... Я уже разорвал три письма к вам, почему бы мне не разорвать и четвертое? Моя ошибка, Рената, в том, что я слишком многого у вас просил... я только теперь это понял. Очень жаль».

Но, конечно, он продолжает ей писать.

Между тем его случайная профессия быстро ему приелась. К тому же коммерсантом он оказался бездарным: за целый год продал всего лишь один грузовик.

Его привлекает другое: «полет в надземные пространства» был еще детской его мечтой. Когда мальчика спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда будешь большой?» — он отвечал: «Я хочу улететь на аэроплане, и чтобы все кричали: да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!»

Воинскую службу он отбывал в авиации — и его тайное желание, наконец, сбывается: в 1923 году его принимают в военно-воздушный флот. Дальше его ждет блестящая карьера: он один из организаторов авиационного почтового сообщения между Европой и Африкой, а в 1930 году — директор сети почтовых самолетов в Аргентине.

Но он продолжает быть и летчиком, и часто, после долгих часов блуждания под звездами и одиноких размышлений, пишет еще своей «выдуманной подруге».

Философия Сент-Экзюпери сложилась под влиянием Ницше. В преодолении себя, своей слабости, в непоколебимом мужестве, основанном на сознании долга и ответственности перед всеми, — высокое назначение человека на земле. — Этой мыслью проникнуты его первые книги: «Южный почтовый» (“Courrier Sud“, 1928), «Ночной полет» (“Vol de nuit“, 1931), сразу доставившие ему широкую известность, — и не только во Франции.

Но, может быть, только «выдуманной подруге» он признается иногда в письмах, как трудно ему изжить страх смерти, как тяжело было преждевременно расстаться с тем, что ему дорого, — с самыми близкими, с утренним солнцем, с пролетающей тенью облаков на полях...

Не раз он подвергается смертельной опасности. Однажды ему показалось, что самолет перестал ему повиноваться, что он стремительно теряет высоту. «С каким-то удивлением я смотрел на поле, где мне

суждено было разбиться, — для меня в этом было что-то новое. Я чувствовал, что становлюсь совершенно белым, совершенно гладким от страха».

Но он не разбился — и потом никому не мог рассказать, что он испытал в эти минуты, когда мысленно прощался с миром, когда ему казалось, что он одновременно проник и в тайну жизни, и в тайну смерти.

«Днем все так просто. Я люблю полеты, люблю риск. Я люблю все это днем, но не ночью. Ночью я беззащитен, и мне самого себя жаль».

Такого рода признания ничуть не снижают образа поэта. Скорее напротив: ведь храбр не тот, кто ничего не боится, а тот, кто волей побеждает страх.

Но та молодая девушка, которую он тайно любил, которую постоянно упрекал в равнодушии, в непонимании, конечно, угадала в Сент-Экзюпери большого поэта, человека редких моральных качеств: недаром она бережно хранила все его письма, все его рисунки, пока не решила поделиться этим наследием с читателями.

«Русская Мысль» № 3145, 31.III.1977 г.

СЕНТ - ЭКЗЮПЕРИ

Когда десятилетнего Антуана спрашивали: «Кем ты хочешь стать, когда будешь большой?» — он отвечал: «Я хочу улететь на аэроплане и чтобы толпа при этом кричала: да здравствует Антуан де Сент-Экзюпери!» Не так уж часто детские мечтания претворяются в действительность. «Сент-Эксу», как называли его друзья, в этом отношении повезло: его призвание пилота и поэта обнаружилось очень рано и вовремя было признано.

Ему выпало на долю счастливое, безмятежное детство, протекшее в обстановке, напоминающей дворянские гнезда прошлого столетия: большой старинный дом, огромный парк, поля и леса, испокон веков принадлежавшие его роду. Зачинщик игр, неуемный фантазер, он был вожаком маленьких сестер и брата и любимцем всей семьи. В католическом колледже, куда он поступил девяти лет, товарищи прозвали его «Уколи-луну» (“pique la lune“), собственно, за его вздернутый нос, но это прозвище оказалось в какой-то мере пророческим: на луну он, правда, не улетел, но мечта его детства — полет в надземные пространства — осуществилась, и он первый ввел читателей в своеобразный мир профессиональных летчиков, с их кодексом чести и долга, особыми задачами и испытаниями.

Ровесник века, Сент-Экзюпери умер рано, 44 лет, и оставил сравнительно небольшое литературное наслед-

ство: шесть книг, не считая посмертных изданий. Но каждая из этих книг отражает его биографию — и в то же время определенный момент нашей трудной и увлекательной эпохи. Литература и жизнь были для него неотделимы. Он не мог писать о том, чего не пережил сам, в чем не принимал активного участия.

Отбывая воинскую повинность, Сент-Экзюпери учился и летному делу, — и в один прекрасный день, без диплома и без разрешения, улетел один на школьном самолете. Этот первый опыт чуть не закончился катастрофой, — и в нем можно усмотреть прообраз его последнего полета, состоявшегося в сходных условиях.

В 1923 году его принимают наконец в военно-воздушный флот в качестве летчика-истребителя. Но родители его невесты возражают против такой опасной профессии. Летчик оказывается перед трудной дилеммой: он должен отказаться от невесты или от авиации. Он отказывается от невесты.

Последующие годы, отмеченные появлением его лучших книг — «Южный почтовый», 1928 ("Courrier Sud"), «Ночной полет», 1931 ("Vol de nuit"), «Земля людей», 1939 ("Terre des hommes"), за которую ему присудили Большую Академическую премию,— самые счастливые годы в его жизни. Близость товарищей, мужественная и ответственная работа, постоянное сознание опасности, преодоление трудностей — все это придает жизни особую ценность, наполняет ее содержанием и смыслом. Возвращаясь на землю, летчик заново открывает для себя прелесть простых и вечных даров жизни: куска хлеба, глотка воды, цветка, женской улыбки; он видит связь всех вещей, круговую поруку всего земного.

В течение долгих часов блуждания «под звездами» летчик размышляет о назначении человека, о смысле его существования. В философии Сент-Экзюпери сказывается влияние Ницше, — и ее можно было бы свести

к знаменитому изречению: «Человек есть нечто, что надо преодолеть». Для того, чтобы человек нашел себя, открыл в себе еще неизведанные возможности, надо поставить его в исключительные условия: войны, смертельной опасности, катастрофы. Только в испытании преображаются обыкновенные люди и рождаются герои. Во имя высшей цели надо забыть о самом себе. «Что же заставляет человека с радостью жертвовать собой, делиться с другом в пустыне последним глотком воды, — как будто существует на свете что-то, что важнее жизни?»

«Сент-Экс» с недоумением и жалостью смотрит на тех, кто довольствуется подобием жизни и заботится лишь о скромном благополучии. На аэродроме, кроме летчиков, присутствуют в минуту отлета еще несколько служащих — «ползающих», как их называют пилоты.

Писатель прислушивается к их разговорам: «Они говорят о болезнях, о денежных затруднениях, о домашних хлопотах, и в каждом слове я узнаю холодную стену тюрьмы, за которой эти люди сами себя заперли. Бедная душа чиновника! Никто не увлек тебя за собой, пока еще было время, а теперь глина, из которой ты создан, высохла и отвердела... умер поэт, умер музыкант, умер звездочет, которые, быть может, когда-то жили в тебе...».

Образу обывателя противопоставляется образ героя. Читатели «Земли людей» помнят, конечно, историю летчика Гильоме, сорвавшегося в Андах, на высоте 3000 метров, в снежную бурю, в сорокаградусный мороз, и пешком — целых пять дней и четыре ночи — добиравшегося до жилого места. Гильоме все уже считали погибшим, когда он вдруг появился, словно свалился с неба, — черный, высохший, «похожий на собственную мумию», с обмороженными ногами. Не-

сколько оправившись, он рассказал о своих неслыханных похождениях, о том, как часто ему хотелось лечь на снег, уснуть навсегда, — и как мысль о жене, о товарищах, его ждавших, о своей ответственности перед ними, заставляла его с трудом подниматься на ноги и брести через силу.

«Клянусь тебе, того, что сделал я, не сделал бы ни один зверь!» В преодолении себя, своей слабости, в мужестве, основанном на сознании долга и ответственности перед всеми, — высокое назначение человека и его превосходство перед всеми другими созданиями.

Сент-Экзюпери всегда увлекался новыми достижениями в области авиации: он участвовал в организации регулярного почтового сообщения между Европой и Африкой, потом был назначен директором почтовых самолетов в Аргентине. Но в 1931 г. он порывает с «Аэропортом Аргентина», становится летчиком-репортером, читает доклады в разных европейских столицах, а в 1937 г. уезжает в Америку, где его книги пользуются большим успехом. Отказ от прежней жизни, от товарищеской среды переживается им болезненно, — и в 1939 г., предчувствуя близость катастрофы, он спешит вернуться домой. После поражения Франции и демобилизации, он опять уезжает в Америку, где пишет «Военный летчик» (“Pilote de guerre“) — горькую книгу, повествующую о разрухе, об ошибках военного командования, о ненужных, бессмысленных жертвах, но кончающуюся признанием ответственности каждого за всех, общего долга и общей надежды.

В 1944 г. он приезжает в Северную Африку и принимает, под начальством американцев, командование над своей авиационной группой. Ему уже 44 года: для летчика-истребителя предельный возраст; но всякими правдами и неправдами он добивается, чтобы ему поручили боевые задания.

Почему он так упорно настаивает на этом? «Это дает мне право сидеть с товарищами за одним столом, молчать вместе с ними. Это право покупается дорогой ценой. Но оно и стоит дорого. Для меня — это право на существование... Ремесло свидетеля — не по мне». Для него существовать — значило принимать участие в избранном деле, делить с товарищами опасности и радости, рисковать собой во имя того, что он считал значительнее и выше себя.

Ему дали разрешение на пять боевых заданий. Он выполнил восемь; с девятого (31 июля 1944 г.) он не вернулся. Ни его тела, ни остатков его самолета разыскать не удалось.

В письме, адресованном накануне последнего полета генералу Х., он писал: «Убьют меня на войне или нет — мне безразлично. Но если мне суждено вернуться живым с этой необходимой и неблагодарной работы (“job“), передо мной встанет вопрос: что можно, что нужно сказать людям?»

Что сказать людям? Вероятно, то же самое, что он говорил во всех своих книгах. Перерасти самого себя, сознавать свою ответственность, посвятить себя целиком высокой цели — вот три заповеди его этики.

ПАМЯТИ ПОЭТА

Пятнадцать лет прошло уже со дня смерти Владимира Корвин-Пиотровского, немного осталось на свете людей, хорошо его знавших, — и мне хочется воскресить память о талантливом поэте, который был и моим другом.

Особенно мне запомнилась одна неожиданная встреча с ним. Это было очень давно, чуть ли не полвека тому назад, в Берлине. Как-то вечером я собралась с одним приятелем в театр. Ужинали мы у нас; как водится, заболтались, и, когда вышли на улицу, пришлось остановить первое проезжавшее такси. Шофер повернулся к нам, чтобы повторить адрес, — и я узнала в нем Пиотровского. Смутился не он, — смутилась, конечно, я, — а он посмотрел на меня холодно, отвернулся и взялся за руль. Моему немецкому спутнику я объяснила, что этот шофер — талантливый русский поэт, — к чему тот отнесся скептически.

— Значит, до воскресенья, Владимир Львович, — сказала я, выходя из машины.

— Да, до скорого, — ответил он холодно, и мы расстались.

Очевидно, эта встреча была ему неприятна. А я ведь и не знала тогда, что он стал водителем.

Но удивляться этому не приходилось. Чем только не занимались в те годы русские изгнанники! Германия терзалась инфляцией и безработицей, эмигрантская

пресса поэтов не кормила. Приходилось браться за любое занятие: работали на заводах, служили в лавках, разносили товары по домам...

Об этой случайной встрече мы с Пиотровским никогда не упоминали, — а видались мы часто, почти каждое воскресенье, в нашем Кружке Поэтов, в котором числилось и немало прозаиков и где Пиотровский, наравне с В. Набоковым — тогда еще Сириным, — почитался «мэтром».

Небольшого роста, крепкого сложения, с темными всегда гладко на пробор зачесанными волосами, острым носом и большими внимательными глазами, — таким я вижу В. Пиотровского. Его поэтический дар обнаружился очень рано: еще в детстве он начал «сочинять стихи», хотя домашняя обстановка не слишком способствовала такому занятию. Он родился в 1891 году в небогатой семье, в провинциальной Белой Церкви, — там и учился в гимназии, — потом был мобилизован, оказался на фронте, а во время гражданской войны, — как рассказывал он сам, — «чрезвычайно неумело был расстрелян красными партизанами». Мне думается, — но может быть я ошибаюсь, — что эта биографическая деталь — плод фантазии поэта...

А русского детства он, конечно, не забыл и в своих стихах не раз к нему возвращается:

Согревшись в беженской пивной,
Мы вспоминали цвет сирени,
Расстрел под северной луной,
Садов взволнованные тени.

Над Белой Церковью блистает
Почти незаходящий день.
Едва заметно вырастает
Садов отчетливая тень...

Отражается в его поэмах и гражданская война:

Россия призраков разбита,
Мы отступали в никуда,
И только конские копыта
Ритм замедляли иногда.

Но каждой буре сердце радо,
Но с каждой бьется заодно,
Оно стучало — надо, надо, —
Здесь все равны и всё равно...

А потом возникает в них и эмигрантское бытие:

Изгнание. Мир без прикрас,
Не искаженный именами,
Здесь каждый локоть тычет в вас
И окрик следует за вами (...)

Но и в скитальческой тоске
Поэты наши и пророки
Дорожной палкой на песке
Упрямо выводили строки.

Мы умирали, не старея,
На европейских мостовых,
В лазурной гавани Пирея,
В парижских улицах кривых.

И лежа на спине глядели,
Не отводя хрустальных глаз,
Как звезды синие редели,
Как догорал зеленый газ.

Мы дружбу с небом заводили,
Чтоб быть подальше от земли,
Мы уходили, уходили,
И кажется уже пришли.

Коперника и Птоломея
С печальным вздохом отмели,
Мы отплывали от земли
К большим туманам Эмпирея,
К садам в космической пыли.

(Из поэмы «Поражение»)

Приятели его порой дразнили: «Владимир Львович, почему такая верность четырехстопному ямбу? Ведь он и Пушкину, как вам известно, надоел». Он отвечал не без высокомерия: «А я верен молодому Пушкину». И действительно, форма его поэзии до конца оставалась классической. Жилось Владимиру Пиотровскому, конечно, трудно, но репутацию талантливого поэта он быстро завоевал, сотрудничал во всех эмигрантских журналах и на свою судьбу никогда не жаловался, — был он для этого слишком горд. Когда в начале 20-х годов он оказался в Берлине, счастье ему улыбнулось: он встретился с Ниной, прелестной русской девушкой, которая вскоре стала его женой. Конечно, ее родители были против этого брака с бедным эмигрантом, да еще поэтом, — вот тоже занятие! Но Нина настояла на своем, — и брак оказался очень удачным: она была из тех жен, для которых все сказанное или сделанное мужем не подлежит критике, — и для нее он был, конечно, первым поэтом эмиграции.

Прекрасно владея французским языком, Нина без труда нашла работу во французском посольстве в Берлине, — и тогда Пиотровский смог расстаться с ремеслом шофера, но, чтобы помогать жене, взялся за раскраску «пошуаров» — кусочков материи, из которых составлялись модные в те годы разноцветные шарфы.

Но главным его занятием, его призванием и подлинной страстью оставалась, конечно, поэзия, — и мне всегда казалось, что обыкновенная жизнь для него

что-то туманное, неопределенное и что живет он — что свойственно многим творчески одаренным людям — в своем особом, для других замкнутом, мире.

Одно время Пиотровские задумали было вернуться в Россию, этим замыслом долго увлекались, — но, на свое счастье, его не осуществили, — а после прихода Гитлера к власти переехали в Париж, где я часто с ними встречалась. Позднее, в начале 60-х годов, они с подростком-сыном уехали в Америку, и там, в Лос-Анджелесе, Владимир Пиотровский скончался в 1966 году.

Несмотря на материальные затруднения, Пиотровскому удалось издать в Берлине несколько стихотворных сборников, — но самые зрелые его произведения вышли уже позже в Париже: «Воздушный Змей», «Рифма», «Поражение». Полное же собрание стихов и поэм появилось в печати уже после его смерти, в двухтомнике под названием «Поздний Гость» (Вашингтон, 1968-1969).

Для поэзии Пиотровского характерна классическая форма, которой он остался верен до конца, — но темы и тон его стихов зачастую лирические, — и воспоминания о юности и о России его, конечно, не покидают:

В мой смертный час и я отмечу
Бег облака и дождь косой, —
Вся родина слетит навстречу
Рекой, туманом и росой,
Поющей птицей, ветром, громом,
Неувядаемой весной...

Тема смерти также часто звучит в его стихах:

И вот — переступил черту,
В речном тумане молча таю
И уплываю, уплываю
В ликующую пустоту.

Влекусь за облаком бегущим,
Колеблюсь в зыбкой глубине,
И жалость смутная во мне
Ко всем усопшим и живущим...

Любимым его поэтом, творчество которого навсегда заполонило В. Пиотровского, был Пушкин. Ему посвящен ряд стихотворений («Стихи к Пушкину») и две пьесы в стихах. Действие одной из них («Ночь») происходит накануне роковой дуэли. К Пушкину подходит таинственный посетитель, вызывающий в памяти поэта образ Моцарта. «Ты помнишь? Моцарт... Странный господин пришел к нему однажды, заказал учтиво Реквием — и скрылся», — говорит он Данзасу после исчезновения незнакомца. А другая пьеса, «Смерть Дон-Жуана» — как бы ироническая вариация пушкинского «Каменного гостя». В ней Донна Анна, рыдающая над могилой Дон-Жуана, без долгих колебаний уступает настояниям Лепорелло, в нее влюбленного.

Пиотровского особенно привлекала эпоха Возрождения, — она была ему, казалось, ближе современной, в которой он чувствовал себя чужим, — случайным гостем.

Дойдет ли творчество поэта до его родной страны, которая, несмотря на долгую разлуку, была ему всегда так близка? Кто может сегодня на это ответить?

«Русская Мысль» № 3405, 25.III.1982 г.

«БЕСЫ» И ДЕЛО НЕЧАЕВА

В 1869 году Достоевский жил в Дрездене со своей молодой женой. Это был уже третий год его новой «ссылки», как называл он свое заграничное пребывание, уверяя со свойственной ему страстностью и склонностью к преувеличениям, что «в Сибири было лучше». Но все его помыслы были сосредоточены на России, он жил только ею, ее настоящим и будущим. Работая, как всегда, по ночам, до шести утра, он позволял себе днем только одно развлечение: прогулку в библиотеку, где он прочитывал от доски до доски три русских газеты: больше всего он боялся отстать от «живой струи русской жизни, не от идеи, а от плоти ее...»

Известно, какой перелом произошел в социально-политических убеждениях Достоевского за время каторги и ссылки: уйдя в Сибирь социалистом, поклонником Фурье, он вернулся оттуда ненавистником Запада и всех заимствованных у него идей, страстным монархистом, поборником всеславянской православной мысли. Западную Европу он ненавидит главным образом за проповедуемый там, по его убеждению, атеизм. Западу суждено погибнуть, «ибо окончательно утвердится атеизм в опоганившемся западном человечестве».

Зато воссияет Россия: она принесет свет православия «ослепшему на Западе человечеству, потерявшему Христа». Вероятно, этой ненавистью к «безбожному»

Западу и его тлетворному влиянию на русское общество объясняются чрезвычайно поверхностные и яростно-несправедливые суждения Достоевского о заграничной жизни вообще и об иностранцах в частности. «О, если бы Вы понятие имели о бесчестности, низости, невероятной тупости и неразвитости швейцарцев! Конечно, немцы хуже, но и эти чего-нибудь стоят...»

Безоговорочный патриотизм и увлечение славянофильскими идеями доходят до пароксизма во время четырехлетнего пребывания Достоевского за границей. Вдалеке от России он идеализирует ее, — вернувшись же домой, хладнокровнее и трезвее судит о русской действительности.

Вероятно, именно в дрезденской библиотеке, в конце ноября 1869 года, Достоевскому попалась на глаза газетная заметка: на территории Петровской Академии нашли в пруду труп неизвестного, всплывший на поверхность, несмотря на привязанные к нему камни. Полиция работала быстро: уже через несколько дней ей удалось не только установить личность убитого, но и уличить виновников его смерти. Убитый оказался студентом Академии Ивановым, убила же его кучка революционеров, членов тайного общества «Народной Расправы», которую возглавлял некий Нечаев. Вслед за этим почти ежедневно в газетах стали появляться новые сведения об этом преступлении, а осенью 1871 года были напечатаны стенографические отчеты процесса нечаевцев (сам Нечаев успел вовремя бежать за границу).

Можно себе представить, как взволновало Достоевского известие об этом убийстве. Какое яркое подтверждение его теории! Социалисты, отвергнувшие Бога, потеряли всякое представление о морали: атеизм неминуемо ведет к преступлению. Тут же у него

возникла идея; воспользовавшись этой фабулой, созданной самой жизнью, написать антиреволюционный «памфлет» и обличить нигилистов. «Сел за богатую идею, — сообщает он Майкову в самом начале февраля 1870 года, — не про исполнение говорю, а про идею. Одна из тех идей, которые имеют несомненный эффект в публике... Только уж слишком горячая тема». И Страхову, в марте: «Хочется высказать несколько мыслей, хотя бы погибла при этом художественность. Но меня увлекает накопившееся в уме и в сердце. Пусть выйдет хоть памфлет, но я выскажусь...».

После двухлетней упорной работы над «Бесами» слияния двух планов все же не произошло: в ткани романа заметны швы. Ставрогин стоит в стороне от пятерки «наших», не причастен к их заговору и не принимает никакого участия в их волнениях, сомнениях и действиях.

Тесно связана с делом Нечаева лишь последняя часть романа. Убийство Шатова несомненно построено по схеме убийства студента Иванова: та же обстановка — мрачный осенний парк, куда под тем же ложным предлогом заманивают жертву, заподозренную в предательстве; участниками преступления, слепо повиновавшимися Петру Верховенскому, овладевают раскаяние и паника — так же, как членами «Общества Народной Расправы», поддавшимися влиянию Нечаева. Аналогия замечается даже в деталях: упоминается шапка жертвы, забытая на месте преступления.

Некоторые члены «пятерки» списаны прямо с натуры и кажутся портретами убийц Иванова — портретами, одновременно внешне окарикатуренными и психологически осложненными: таковы Виргинский, Толкаченко, Эртель. С показаниями их прототипов на суде Достоевский ознакомился в ноябре 1871 года, когда первые главы «Бесов» уже появились в «Русском

Вестнике» — автор же работал еще над второй частью романа.

Но Петр Верховенский, конечно, не Нечаев. Прежде всего, он не революционер, а провокатор и смутьян. «Я мошенник, а не социалист», — твердит он сам. Лицо это действительно «наполовину комическое»: комичны его неудержимая болтовня («слова его сыплются, как ровные крупные зернышки»), его страсть к сплетням, фатовство, беспредметные хлопоты и беготня по городу, даже его нахальство.

В суровой же и устрашающей фигуре Нечаева ничего «комического» не было. Несмотря на его аморализм, мегаломанию и циничное презрение к товарищам, он был по-своему искренно предан идее революции, как он ее понимал. Безжалостный к другим, он был безжалостен и к самому себе и доказал это впоследствии, когда на тайное предложение народовольцев организовать его побег из равелина Петропавловской крепости ответил отказом: такая попытка помешала бы подготовке очередного покушения на Александра II.

Но о характере Нечаева Достоевский мог узнать только из показаний — естественно, очернявших его — членов «Народной Расправы». Суд над самим Нечаевым состоялся в начале 1873 года, когда «Бесы» были уже закончены. И, конечно, изображение революционера, в какой-то мере заслуживавшего серьезного внимания, не входило в намерения писателя.

Достоевский несомненно был знаком со знаменитым «Катехизисом революционера» (автором которого был, вероятно, Бакунин), документом чисто анархистского характера, в котором встречаются такие фразы: «наше дело — страшное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение», или: «революционер должен единою холодною страстью революционного дела задавить в себе даже чувство чести»; этими тезисами

обоснована в романе деятельность Петра Верховенского.

Любопытно, что вскоре после возвращения в Россию, в 1873 году, Достоевский находит уже если не оправдание, то объяснение трагических заблуждений нечаевцев. «Нечаевым я, вероятно, не мог бы сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может и мог бы... во дни моей юности». — «Почему же вы думаете, что даже убийство а ля Нечаев остановило бы по крайней мере некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений?»

Как и предвидел писатель, так называемая прогрессивная критика встретила «Бесы» криками возмущения. По мнению Н. Михайловского, Достоевский как будто задался целью не отступать «от сведений, добытых следствием и судом по нечаевскому делу». П. Ткачев, сам пострадавший в связи с нечаевским делом, уверял, что «автор, обнаруживая свое творческое банкротство, начал переписывать судебную хронику, путая и перевирая факты». И все, конечно, хором обвиняли Достоевского в использовании нетипичного случая для клеветы на передовую (подразумевалось: революционную) молодежь.

Никто из этих критиков не заметил тогда, что, несмотря на несомненное внешнее сходство ситуаций и персонажей, Достоевский создал в «Бесах» свой особый ирреальный мир, мир противоречивых страстей и исступленных споров на темы, волновавшие его самого — о призвании России, о Боге и безбожии, — мир, где центральные сцены протекают в характерной атмосфере, в холодных пустых комнатах, при тусклом мерцании свечей, в заброшенном парке или на пустынной черной улице, в осеннюю слякоть и грязь. «У меня свой особый взгляд на действительность в искусстве, и то, что большинство называет почти исключительным

и фантастическим, то для меня составляет самую сущность действительности»... «Сущность действительности», угрозу для будущего России, для ее духовной жизни он пророческим взглядом угадал в случайном, казалось бы, эпизоде нечаевского дела.

«Русская Мысль» № 2866, 28.X.1971 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие — *А. Клементьев* ... 3

I. ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ

Верность ... 9
Alma Mater ... 33
Бридж ... 40
Хиромантия ... 45
Сентиментальное путешествие из Берлина в Лейпциг ... 51
Жертва ... 59
Счастье ... 72
Возвращение ... 79
Советчица ... 83
Телефонный разговор ... 87
Парижанка ... 102
Мирочка ... 112

II. ВОСПОМИНАНИЯ, СТАТЬИ, ОЧЕРКИ

Париж в ожидании ... 137
Памяти ушедших ... 150
Из воспоминаний о Георгии Адамовиче ... 168
Гончарова и Ларионов ... 175
Памяти Н.Н. Евреинова ... 182
Воспоминания о «Геликоне» ... 189
Ольга Глебова-Судейкина ... 197

Говорит Набоков 202
Владимир Набоков «Ада или жар» 208
Из воспоминаний о Сирине 214
О Саше Черном 220
Борис Пастернак в Берлине 227
А. Сент-Экзюпери: «Юношеские
письма выдуманной подруге» 234
Сент-Экзюпери 238
Памяти поэта 243
«Бесы» и дело Нечаева 249

ACHEVÉ D'IMPRIMER
EN FÉVRIER 1993
PAR L'IMPRIMERIE
DE LA MANUTENTION
A MAYENNE
N° 41-93

ISBN n° 2-85065-220-2